

Бродячая жизнь. Ги де Мопассан

## УСТАЛОСТЬ

Я покинул Париж и даже Францию, потому что Эйфелева башня чересчур мне надоела.

Она не только видна отовсюду, но вообще попадаетея вам на каждом шагу: она сделана из всех возможных материалов и преследует вас из всех витрин, как неотвязный, мучительный кошмар.

Впрочем, не только она внушила мне непреодолимое желание пожить некоторое время в одиночестве, но и все то, что делалось вокруг нее, внутри нее, на ней и рядом с ней. И как в самом деле смеют газеты говорить о новой архитектуре по поводу этого металлического остова! Ведь архитектура – наиболее непонятное и наиболее забытое в наши дни искусство, а также, пожалуй, наиболее эстетическое, таинственное и насыщенное идеями.

Архитектура имела то преимущество, что на протяжении столетий, так сказать, символизировала каждую эпоху и в очень небольшом количестве типичных памятников подводила итог манере думать, чувствовать и мечтать, присущей данному народу и данной цивилизации.

Несколько храмов и церквей, несколько дворцов и замков воплощают в себе почти всю мировую историю искусства; гармонией линий и прелестью орнамента они лучше всяких книг раскрывают нашему взору все изящество и величие своей эпохи.

Но я спрашиваю себя, что будут думать о нашем поколении, если только в ближайшее время какое-нибудь восстание не смахнет эту высокую, тощую пирамиду железных лестниц, этот гигантский уродливый скелет, основание которого как будто предназначено для мощного циклопического памятника и вместо этого завершается убогим недоноском – тощим и нелепым профилем фабричной трубы.

Говорят, что это разрешение какой-то проблемы. Пусть так, но ведь она бесполезна. И этой устарелой затее возобновить наивную попытку строителей Вавилонской башни я скорее предпочел бы тот замысел, который еще в XII веке возник у архитекторов Пизанской колокольни.

Мысль построить эту прелестную башню с восемью ярусами мраморных колонн наклоненной, словно она вот-вот упадет, доказать изумленному потомству, что центр тяжести – лишь ненужный предрассудок инженеров, что здания могут обходиться без него и все же быть очаровательными и привлекать по прошествии семи веков больше удивленных посетителей, чем привлечет их Эйфелева башня по прошествии семи месяцев, – это, конечно, тоже проблема, если уж говорить о проблеме, но гораздо более оригинальная, чем проблема этой гигантской металлической машины, размалеванной во вкусе краснокожих.

Мне известно, что, по другой версии, колокольня наклонилась сама собой. Как знать! Изящный памятник хранит свою тайну, вечно обсуждаемую и навек неразгаданную.

Впрочем, что мне за дело до Эйфелевой башни? Она была, по сакраментальному выражению, лишь маяком международной ярмарки, воспоминание о которой будет преследовать меня, как кошмар, как воплощение того отвратительного зрелища, каким представляется человеку брезгливому веселящаяся людская толпа.

Я далек от мысли критиковать это колоссальное политическое начинание – Всемирную выставку, которая показала всему свету, и притом в самый нужный момент, силу, жизнеспособность, размах деятельности и неисчерпаемые богатства той изумительной страны, которая именуется Францией.

Было доставлено большое удовольствие, большое развлечение и показан великий пример народам и разноплеменной буржуазии. Они от души повеселились. Значит, и мы и они поступили прекрасно.

Но я убедился с первого же дня, что не создан для удовольствий этого рода.

Посетив и осмотрев с глубоким восхищением галерею машин и фантастических открытий современной науки, механики, физики и химии, убедившись в том, что танец живота забавен только в тех странах, где движется обнаженный живот, и что остальные арабские пляски обладают известной прелестью я красочностью только в белых алжирских ксарах, я сказал себе, что ходить время от времени на выставку хотя и утомительно, но занимательно и что отдыхать от нее можно в другом месте; у себя или у друзей.

Но я не подумал о том, во что превратится Париж, наводненный обитателями вселенной.

С утра улицы полны народа, по тротуарам непрерывно текут толпы, как вздувшиеся потоки. Все это спешит на выставку, либо с выставки, либо снова на выставку. На мостовой экипажи тянутся, как вагоны бесконечного поезда. Все они заняты, и ни один кучер не согласится везти вас куда-нибудь, кроме как на выставку или в конюшню, если ему нужно перепрягать. У клубов – ни одной кареты: они обслуживают теперь приезжих растакуэров; в ресторанах нет ни одного свободного столика, и вы не сыщете ни одного приятеля, который пообедал бы дома или согласился бы пообедать у вас.

Если вы его пригласите, он примет ваше приглашение при условии отправиться обедать на Эйфелеву башню. Там веселее. И все, словно повинуюсь какому-то приказу, приглашают вас туда каждый день недели то позавтракать, то пообедать.

В этой жарнице, в этой пыли, в этой вони, в этой толпе подвыпившего, потного простонародья, среди обрывков сальной бумаги, валяющихся или летающих по ветру, среди запахов колбасы и пролитого на скамейках вина, среди дыхания трехсот тысяч ртов, благоухающих всем, что ими съедено, среди скученности, толкотни, давки всех этих разгоряченных тел, в этом смешавшемся поте всех народов, усеивающих своими блохами все дорожки и все скамейки, еще можно было роз – другой с брезгливостью и с любопытством

отведать стряпных трактирщиков – я готов был допустить это, – но меня поражало, что можно ежедневно обедать в такой грязи и в сутолоке, как это делали люди хорошего общества, изысканного общества, избранного общества, утонченного и чопорного общества, которых обычно мутит от одного вида трудового и пахнущего человеческой усталостью народа.

Впрочем, это служит неопровержимым доказательством полного торжества демократии.

Нет больше аристократических каст, родов, аристократической чувствительности. У нас есть только богатые и бедные. Никакая иная классификация не может установить различие между социальными ступенями современного общества.

Утверждается аристократия иного порядка, которая, по всеобщему признанию, только что одержала победу на Всемирной выставке; это аристократия науки, или, вернее, аристократия научной промышленности.

Что касается искусств, то они исчезают; самое понятие о них стирается даже у избранного слоя нации, который без протеста взирал на возмутительную роспись центрального купола и нескольких соседних зданий.

У нас начинает распространяться современный итальянский вкус, и зараза эта так сильна, что даже уголки, отведенные художникам на этом большом простонародном и буржуазном базаре, который только что закрылся, и те носили на себе отпечаток рекламы и ярмарочной шумихи.

Я бы отнюдь не протестовал против пришествия и воцарения настоящих ученых, если бы сама природа их трудов и открытий не убеждала меня в том, что они прежде всего ученые от коммерции.

Пожалуй, это не их вина. Но можно было бы сказать, что человеческая мысль зажата между двумя стенами, переступить через которые уже не придется: между промышленностью и торговлей.

В начальной стадии цивилизации душа человека устремилась к искусству. Но можно подумать, что некое ревнивое божество сказало ей:

– Запрещаю тебе впредь и думать об этом. Обрати отныне свои помыслы только на животную сторону жизни, и тогда я дам тебе возможность сделать множество открытий.

И право, в наши дни пленительное и мощное волнение художественных эпох как будто угасло, а взамен этого пробуждаются к деятельности умы совсем иного рода, которые изобретают всевозможные машины, диковинные аппараты, механизмы, сложные, как живые тела; или же достигают необыкновенных, достойных удивления результатов, соединяя различные вещества. И все это для того, чтобы удовлетворять физические потребности человека или чтобы убивать его.

Идеальные построения, так же как и чистая, бескорыстная наука, наука Галилея, Ньютона, Паскаля, представляются нам чем-то запретным, а воображение наше словно все сильнее и сильнее притягивают открытия, полезные для жизни.

Но разве гений того, кто единым взлетом своей мысли перенесся от падения яблока к великому закону, управляющему мирами, не порожден началом более божественным, чем пронизательный ум американского изобретателя, чудодейственного фабриканта звонков, звуковых и световых приборов?

Не в этом ли тайный порок современной души, признак ее неполноценности, несмотря на все ее торжество?

Возможно, что я совершенно неправ. Во всяком случае все эти вещи, возбуждая наш интерес, не могут, подобно древним формам мысли, увлечь нас, своевольных рабов мечты об утонченной красоте, мечты, которая преследует нас и портит нам жизнь.

Я почувствовал, что мне было бы приятно снова увидеть Флоренцию, и отправился в путешествие.

## НОЧЬ

Мы вышли из Каннской гавани в три часа утра и могли еще воспользоваться последним дуновением легких бризов, которые обычно несутся ночью из заливов в море. Потом повеял слабый ветерок с моря и погнал к берегам Италии поднявшую паруса яхту.

Это – судно, водоизмещением в двадцать тонн, все белое, как лебедь, с едва заметной опоясывающей его золотой полоской. Под августовским солнцем, мечущим на воду пламенные отсветы, новенькие паруса яхты из тонкого полотна походят на серебристые шелковые крылья, развернувшиеся на фоне голубого небосвода. Три кливера устремляются вперед легкими треугольниками, округляемыми дыханием ветра, а большой фок мягко полощется под острым флагштоком, возносящим на восемнадцать метров над палубой свое сверкающее в небе острие. Задний парус, бизань, как будто спит.

И скоро все задремали на палубе. Это летние послеполуденные часы на Средиземном море. Последнее дыхание бриза стихло. Жестокое солнце заполняет небеса и превращает море в безжизненную синеватую гладь, неподвижную и ровную, которая тоже дремлет под переливчатой дымкой тумана, похожего на испарину воды.

Несмотря на тент, который я приказал натянуть, чтобы укрыться в тени, жара под холстом такая, что я спускаюсь в салон и ложусь на диван.

Внутри всегда прохладно. Судно глубокое, построенное для плавания по северным морям и способное выдержать непогоду. В этом небольшом плавучем доме, потеснившись, можно жить шестером или семером, считая экипаж и пассажиров, а за столом салона могут усесться и восемь человек.

Салон, отделанный внутри полированной северной сосной с панелью из индийского дуба, так и светится от ярко начищенных медных замков, дверных и оконных приборов, подсвечников, всей той желтой и весело сверкающей меди, которая составляет роскошь яхт.

Какое странное впечатление производит эта перемена после парижского гама! Я ничего больше не слышу, ничего, решительно ничего. Каждые четверть часа матрос, дремлющий у руля, покашливает и сплевывает. Шум, производимый маленькими стенными часами, висящими на деревянной перегородке, кажется до странности громким среди этого безмолвия неба и моря.

И это едва-едва слышное тиканье, которым только и нарушается неизмеримый покой стихий, наполняет меня вдруг изумительным ощущением беспредельных пространств, где шепоты миров, заглушенные всего в нескольких метрах от поверхности этих миров, уже неуловимы в безмолвии вселенной!

Так и кажется, что какая-то доля вечного покоя мировых пространств спускается и разливается по неподвижному морю в этот удушливый летний день. В этом есть что-то удручающее, непреодолимое, усыпляющее, уничтожающее – как соприкосновение с беспредельной пустотой. Воля парализуется, мысль замирает, телом и душой овладевает сон.

Приближался вечер, когда я проснулся. Несколько слабых порывов предвечернего бриза, впрочем совершенно неожиданного, немного подвинули нас вперед до захода солнца. Мы находились довольно близко от берега против городка Сан-Ремо, но не рассчитывали до него добраться. Другие деревни или городки расположились у подножия высокой серой горы, напоминая кучи белья, разложенного для просушки на берегу моря. По склонам Альп дымились кое-где клубы тумана, скрывая долины и взбираясь к вершинам гор, гребни которых чертили на розовом и сиреневом небе бесконечную зубчатую линию.

И вот на нас спустилась ночь; гора исчезла; вдоль всего обширного побережья у самой воды зажглись огни.

Из глубины яхты поднялся аппетитный запах кухни, приятно смешиваясь со здоровым, свежим запахом моря.

После обеда я растянулся на палубе. Этот спокойный день на воде очистил мой ум, как прикосновение губки к загрязненному стеклу, и в моей голове пробуждались воспоминания, множество воспоминаний о только что покинутой мною жизни, о людях, которых я знал, наблюдал или любил.

Ничто так не содействует полету мысли и воображения, как одиночество на воде, под небосводом, в теплую ночь. Я был возбужден, я трепетал, точно выпил хмельного вина, надышался эфира или влюбился в женщину.

Легкая ночная прохлада увлажняла кожу едва заметным осадком соленого тумана. Сладостный озноб, вызываемый этим теплым холодком, пробегал по моим членам, проникал в легкие, наполнял чувством блаженства тело и душу, пребывавших в полном покое.

Счастливее или несчастливее те люди, которые воспринимают ощущения не только глазами, ртом, обонянием и слухом, но в той же мере и всей поверхностью тела?

Редкую и, пожалуй, опасную способность представляет эта нервная и болезненная возбудимость эпидермы и всех органов чувств; благодаря ей малейшее ощущение превращается в эмоцию, и в зависимости от температуры ветра, от запахов земли и от яркости дневного освещения вы испытываете страдание, грусть или радость.

Не иметь возможности войти в театральный зал, потому что соприкосновение с толпой вызывает необъяснимое раздражение во всем вашем организме; не иметь возможности проникнуть в бальный зал, потому что пошлое веселье и кружащее движение вальса оскорбляет, возмущает вас; чувствовать себя печальным до слез или беспричинно веселым в зависимости от обстановки комнаты, от цвета обоев, от распределения света в квартире и испытывать порою при сочетаниях некоторых восприятий такое физическое удовлетворение, какого никогда не смогут постичь люди с грубым организмом, – что это, счастье или несчастье?

Не знаю. Но если нервная система не восприимчива до боли или до экстаза, то она передает нам лишь обыденные треволнения и вульгарную удовлетворенность.

Этот морской туман ласкал меня, как счастье. Он тянулся до самого неба, и я с наслаждением глядел на окутанные им, словно ватой, звезды, немного бледные на темном и белесом небосклоне. Берега тонули в этом тумане, который стлался по воде и окружал звезды мутным сиянием.

Казалось, чья-то волшебная рука, провожая мир в неведомый путь, окутала его в тонкую пушистую вату.

И вдруг сквозь эту снежную мглу над морем пронеслись неведомо откуда звуки отдаленной музыки. Мне представилось, что какой-то воздушный оркестр, блуждая в безграничном просторе, дает мне концерт. Приглушенные, но отчетливые звуки, пленительно певучие, наполняли тихую ночь журчанием оперных мелодий.

Возле меня раздался голос.

– Да ведь сегодня воскресенье, – сказал матрос, – вот в Сан-Ремо и музыка играет в городском саду.

Я слушал в таком изумлении, что считал себя во власти какого-то прекрасного сна. Долго в несказанном восторге прислушивался я к этой ночной мелодии, уносившейся в пространство.

Но вот в середине одного отрывка звуки стали расти, усиливаться и словно наплывать на нас. Это производило такое фантастическое, изумительное впечатление, что я приподнялся, чтобы послушать. В самом деле, звуки с секунды на секунду становились все отчетливее, все громче. Они приближались ко мне, но как? На каком призрачном плоту они появятся? Они надвигались так быстро, что я против воли вглядывался в темноту взволнованным взором; и вдруг я потонул в волне теплого воздуха, напоенного ароматами диких растений, в волне, разлившейся, как поток, полной густых запахов мирты, мяты, мелиссы, бессмертников, мастикового дерева, лаванды, тимьяна, опаленных летним солнцем на склонах гор.

То поднялся ветер с земли, насыщенный всеми дыханиями берега и уносивший в открытое море и эту блуждающую музыку, смешав ее с запахом альпийской растительности.

Я задышался и так был опьянен ощущениями, что от этого томящего дурмана пугались мои чувства. Я, право, уже не знал, вдыхаю ли музыку, или слушаю ароматы, или сплю среди звезд.

Этот цветочный бриз унес нас в открытое море, улетучиваясь в ночном воздухе. Музыка постепенно затихла и наконец умолкла, в то время как яхта удалялась в тумане.

Я не мог уснуть и спрашивал себя, как описал бы поэт-модернист так называемой символической школы тот смутный нервный трепет, которым я только что был охвачен и который, мне кажется, непередаваем на общепонятном языке. Конечно, некоторые из этих трудолюбивых выразителей многообразной восприимчивости художника с честью вышли бы из затруднения, воплотив в благозвучных стихах, полных нарочитой звонкости, непонятных и все же доступных восприятию, эту невыразимую смесь душистых звуков, звездного тумана и морского бриза, сеявшего музыку в ночи.

Мне припомнился сонет их великого вождя, Бодлера:

Природа – это храм, где камни говорят,

Хоть часто их язык бывает непонятен.

Вокруг – лес символов, тревожен, необъятен,

И символы на нас с усмешкою глядят.

Как отголоски бурь порой объединятся

В обширной, точно ночь, глубокой, точно сон,

Гармонии, звуча друг другу в унисон, –

Так запах, цвет и звук сливаются, рождаются.

Зеленые, как луг, есть запахи, свежей,

Чем тельце детское, напевней флейты нежной...

И есть порочные, богаче и пышней,

Зовущие в простор таинственный, безбрежный...

Как ладан, и бензой, и мускус хороши!

Они поют экстаз и тела и души.

[Здесь и далее перевод Валентина Дмитриева.]

Разве я только что не прочувствовал до мозга костей эти таинственные стихи?

Как отголоски бурь порой объединятся

В обширной, точно ночь, глубокой, точно сон,

Гармонии, звуча друг другу в унисон, –

Так запах, цвет и звук сливаются, рождаются.

И они сливаются не только в природе, но сливаются и внутри нас, а порою соединяются, по выражению поэта, «в обширной, точно ночь, глубокой, точно сон, гармонии», благодаря взаимодействию наших органов чувств,

Впрочем, это явление известно в медицине. В этом самом году появилось большое количество статей, где его обозначают термином «красочное слуховое восприятие».

Доказано, что у натур очень нервных, обладающих повышенной возбудимостью, всякое чересчур сильное воздействие на какой-нибудь орган чувств передается, как волна, соседним чувствам, которые воспринимают его каждое по-своему. Так, музыка вызывает у некоторых людей цветовые ощущения. Следовательно, существует своего рода заразительность восприятия, преобразующегося в соответствии с функцией каждого заданного мозгового центра.

Этим и можно объяснить прославленный сонет Артюра Рембо, в котором говорится о цветовых оттенках гласных, – настоящий символ веры, принятый школой символистов.

В «А» черном, белом «Е», «И» алом, «У» зеленом,

«О» синем я открыл все тайны звуков гласных.

«А» – черный бархат мух, докучных, сладострастных,

Жужжащих в летний зной над гнойником зловонным.

«Е» – холод ледников, далеких и прекрасных,

Палатка, облачко в просторе отдаленном.

«И» светится во тьме железом раскаленным,

То – пурпур, кровь и смех губ дерзких, ярко-красных,

«У» – на воде круги, затон зеленоватый,

Спокойствие лугов, где пахнет дикой мятой,

Угрюмость, тусклый след мучительных ночей...

«О» – зовы громкие тромбона и гобоя,

Просторы без границ, молчанье голубое,

Омега, ясный взор фиалковых очей!

Ошибается ли он, прав ли? Рабочему, разбивающему камни на шоссе, и даже многим великим людям этот поэт покажется сумасшедшим или шарлатаном. По мнению же других, он открыл и выразил абсолютную истину, хотя эти исследователи неуловимых восприятий всегда будут несколько расходиться во взглядах на оттенки и образы, которые могут быть возбуждены в нас таинственными вибрациями гласных или оркестра.

Если наукою – современной – признано, что музыкальные ноты, действуя на некоторые организмы, вызывают в них световые ощущения, если соль может быть красным, фа – лиловым или зеленым, то почему бы этим нотам не вызывать также вкусовых ощущений во рту и ощущения запахов в органе обоняния? Почему бы людям утонченным и слегка истеричным не воспринимать каждую вещь всеми своими чувствами одновременно и почему бы символистам, этим неизлечимым поэтам, этим поэтам по преимуществу, не открыть новых восхитительных ощущений людям одной с ними породы? Это скорее вопрос художественной патологии, чем подлинной эстетики.

В самом деле, разве не может случиться, что некоторые из этих интересных писателей, ставших неврастениками путем тренировки, достигнут такой степени возбудимости, что каждое впечатление, полученное ими, будет вызывать у них как бы концерт всех восприятий?

Не это ли самое выражает их причудливая поэзия звуков, которая кажется совершенно непонятной, но на самом деле пытается воспеть полную гамму ощущений и запечатлеть скорее сближением слов, чем их разумным согласованием и общепринятым смыслом, непередаваемые чувства, темные для нас и ясные для них?

Ведь художники истощили все ресурсы, им не хватает нового, еще не высказанного, эмоций, образов – решительно всего. Со времен древности все цветы на их лугах уже сорваны. И вот в своем бессилии они смутно чувствуют, что для человека, пожалуй, возможно расширить круг ощущений. Но разум имеет пять ворот, приоткрытых и запертых на цепь, называемых пятью чувствами; в эти-то пять ворот и ломаются изо всех сил в наши дни люди, увлеченные новым искусством.

Разум, слепой и трудолюбивый незнакомец, ничего не может ни узнать, ни понять, ни открыть иначе, как при помощи чувств. Они единственные его поставщики, единственные посредники между ним и Мировой Природой. Он работает исключительно по указаниям, доставляемым ему чувствами, а те, в свою очередь, могут собирать эти указания лишь в меру своих способностей, своей впечатлительности, силы и изощренности.

Таким образом очевидно, что ценность мысли зависит непосредственно от качества органов чувств и пределы ее ограничены их количеством.

Впрочем, г-н Тэн подробно и основательно разобрал и развил эту точку зрения.

Чувств у нас пять, и только пять. Они открывают и истолковывают нам некоторые свойства окружающей нас материи; но она может, она должна заключать в себе неограниченное число других особенностей, воспринять которые мы не в состоянии.

Предположим, что человек был бы создан без ушей; он жил бы, вероятно, более или менее так же, как живет теперь, но для него вселенная была бы безмолвна. Он и не подозревал бы о шуме, о музыке – этих претворенных колебаниях воздуха.

Но будь он одарен другими органами, сильными и чувствительными, также обладающими способностью превращать в нервные восприятия действия и свойства всего неизведанного, что нас окружает, насколько разнообразней была бы область наших знаний и наших эмоций!

Вот в эту-то непроницаемую область и старается проникнуть каждый художник, мучая, насилая и истощая механизм своей мысли. Те, кто умер от мозгового расстройства: Гейне, Бодлер, Бальзак, скиталец Байрон, искавший смерти, подавленный несчастьем быть великим поэтом, Мюссе, Жюль де Гонкур и многие другие, – разве их не погубило именно это усилие опрокинуть материальную преграду, ограничивающую свободу человеческого разума?

Да, наши органы чувств – это кормильцы и учителя таланта художника. Ухо родит музыканта, глаз родит живописца. Все они участвуют в ощущениях поэта. У романиста господствует главным образом зрение. Оно господствует настолько, что, читая всякое отделанное и искреннее произведение, нетрудно обнаружить физические свойства и особенности зрения автора. Преувеличение деталей, их значимость или мелочность, выдвигание их на первый план и специфическая их природа совершенно определенно указывают на степень и характер близорукости автора. Согласованность же целого, пропорциональность общих линий и перспектив в ущерб деталям, даже опущение мелких черточек, зачастую очень характерных для действующего лица или среды, разве это не свидетельствует тотчас же о широком, но не отчетливом зрении человека, страдающего старческой дальностью зрения?

## ИТАЛЬЯНСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Все небо покрыто облаками. Зарождающийся сероватый день пробивается сквозь туман, поднявшийся за ночь и простирающийся между зарей и нами свою темную стену, местами более густую, а местами почти прозрачную.

Сердце сжимается от смутного страха, что, может быть, этот туман до вечера будет застилать пространство траурным покровом, и то и дело подымаешь глаза к облакам с тоскливым нетерпением, как бы с молчаливой мольбой.

Однако, глядя на светлые полосы, отделяющие более плотные массы тумана друг от друга, догадываешься, что над ними дневное светило озаряет голубое небо и их белоснежную поверхность. Надеешься и ждешь.

Мало-помалу туман бледнеет, редееет, словно тает. Чувствуется, что солнце сжигает его, съедает, подавляет своим зноем и что обширный свод облаков, слишком слабый, подается, гнется, расплзается и трещит под непреодолимым напором света.

Вдруг среди туч загорается точка, в ней сверкает свет. Пробита брешь, проскальзывает косой длинный луч и, расширяясь, падает вниз. Кажется, что в этом отверстии неба занимается пожар. Кажется, что это раскрывается рот, что он увеличивается, пламенеет, что его губы пылают и он выплевывает на волны целые потоки золотистого света.

Тогда сразу во множестве мест свод облаков ломается, рушится и пропускает сквозь множество ран блестящие стрелы, которые дождем изливаются на воду, сея повсюду лучезарное веселье солнца.

Воздух освежился за ночь; слабый трепет ветра, только трепет, ласкает и щекочет море, заставляя чуть-чуть вздрагивать его синюю переливающуюся гладь. Перед нами по скалистому конусу, широкому и высокому, который словно вышел на берег прямо из волн, взбегают остроконечными крышами город, окрашенный в розовый цвет людьми, как горизонт окрашен победоносной зарей. Несколько голубых домов образуют ласкающие взор пятна. Кажется, что перед нами избранное обиталище сказочной принцессы из Тысячи и одной ночи.

Это Порто-Маурицио.

Когда его увидишь вот так, с моря, уже не стоит к нему причаливать.

Но я все-таки сошел на берег.

В городе одни развалины. Дома словно рассыпаны по улицам. Целый квартал обрушился и скатился к берегу, может быть, вследствие землетрясения; по всему склону горы уступами громоздятся треснувшие стены с разрушенным гребнем, остатки старых оштукатуренных домов, открытых ветру с моря. И окраска их, такая красивая издали, так гармонирующая с пробуждением дня, представляет собой вблизи на этих лачугах, на этих трущобах лишь безобразную мазню, выцветшую, поблекшую от солнца и смытую дождями.

А по длинным улицам, по извилистым проходам, заваленным камнями и мусором, носится запах, неопиcуемый, но вполне объяснимый при виде подножия стен, запах, столь сильный, столь упорный, столь едкий, что я возвращаюсь на яхту с отвращением и с чувством тошноты.

А между тем этот город – административный центр провинции. Когда вы вступаете на итальянскую землю, он словно встречает вас как знамя нищеты.

Напротив него, на другом берегу того же залива, лежит городок Онелья, также грязный, очень вонючий, хотя вид у него более оживленный и не столь безнадежно нищий.

В воротах королевского коллежа, открытых пастежь по случаю каникул, сидит старуха и чинит отвратительно засаленный матрац.

Мы входим в Савонскую гавань.

Несколько огромных труб фабрик и чугунолитейных заводов, ежедневно питаемых четырьмя или пятью большими английскими пароходами-угольщиками, изрыгают в небо из своих гигантских пастей извилистые клубы дыма, которые тотчас же обрушиваются на город дождем черной сажи; ветер несет этот снег преисподней из квартала в квартал.

Любители каботажного плавания, не заходите в эту гавань, если вам хочется сохранить в чистоте белые паруса ваших маленьких судов.

Но все же Савонна мила, это типичный итальянский город с узкими, забавными улицами, с суетливыми торговцами, с обилием разложенных прямо на земле фруктов, огненно-красных помидоров, круглых тыкв, черного или желтого винограда, прозрачного и словно напоенного светом, зеленого салата, сорванного наспех, листья которого так густо рассыпаны по мостовой, что кажется, будто ее заполнила трава.

Возвращаясь на яхту, я вдруг увидел на набережной неаполитанскую баланчеллу, а за огромным столом во всю длину ее палубы нечто

необычайное, как бы пиршество убийц.

Перед тридцатью смуглыми матросами разложено от шестидесяти до ста четвертушек взрезанных пурпурных арбузов, кровавых, красных, как кровь преступления; они окрашивают своим цветом весь корабль и вызывают с первого взгляда волнующие образы убийств, избиений, растерзанного мяса.

Можно подумать, что эти веселые ребята уплетают за обе щеки окровавленную говядину, точно дикие звери в клетках. Это праздник. Приглашены также команды соседних судов. Все довольны. Красные колпаки на их головах не так красны, как мякоть арбуза.

Когда настала ночь, я вернулся в город.

Звуки музыки привлекали меня, и я прошел через весь город.

Мне попался проспект, по которому медленно двигались группами буржуа и простолюдины, направляясь на вечерний концерт, даваемый два-три раза в неделю муниципальным оркестром.

В этой музыкальной стране такие оркестры, даже в самых маленьких городках, не уступают оркестрам наших хороших театров. Мне припомнился тот, который я слушал прошлой ночью с палубы яхты; воспоминание о нем сохранилось у меня, как о самой сладостной ласке, какую мне когда-либо дарило ощущение.

Проспект кончался площадью, переходившей в набережную; там у самого взморья, в тени, едва освещенной разбросанными желтыми пятнами газовых фонарей, этот оркестр и играл – не знаю только, что именно.

Волны, довольно крупные, хотя ветер с моря совершенно затих, разливали по берегу свой однообразный и равномерный шум в ритм живому пению инструментов, а с лилового небосклона, почти блестящего лилового оттенка, позолоченного неисчислимой звездной пылью, нисходила на нас темная легкая ночь. Она укутывала прозрачной тенью молчаливую, чуть шелчущую толпу, которая медленно прохаживалась вокруг группы музыкантов или сидела на скамейках бульвара, на больших камнях, лежащих вдоль набережной, на огромных балках, сложенных на земле возле высокого деревянного остова большого строящегося корабля с еще раскрытыми боками.

Не знаю, красивы ли савойские женщины; знаю только, что по вечерам они почти всегда прогуливаются с непокрытой головой и что у каждой из них в руке веер. Так прелестно это безмолвное биение крыльев, белых, пестрых или черных, чуть видных, трепещущих, словно попавшие в плен большие ночные бабочки. У каждой встречной женщины, в каждой гуляющей или отдыхающей группе снова и снова видишь это порхание плененных, дрожащих лепестков, их слабую попытку взлететь, и они словно освежают вечерний воздух, примешивая к нему что-то кокетливое, женственное, что так сладостно вдыхает мужская грудь.

И вот среди этого трепетания вееров, среди всех этих ничем не прикрытых женских волос, окружавших меня, я предался глупейшим мечтам, навеянным воспоминаниями о волшебных сказках, как, бывало, мечтал в коллеге, в холодном дортуаре, вспоминая, прежде чем заснуть, прочитанный тайком под крышкой парты роман. Так порою в глубине моего состарившегося сердца, отравленного недоверием, пробуждается на несколько мгновений наивное сердечко мальчугана.

Одно из самых красивых зрелищ на свете – это вид на Геную с моря.

Город подымается в глубине залива, у подножия горы, словно выходя из воды. Вдоль обоих берегов, закругляющихся вокруг, словно обнимая, защищая, лаская его, расположено пятнадцать маленьких городков – соседей, вассалов, слуг, – светлые домики которых отражаются и купаются в воде. Слева от своей покровительницы – Коголето, Арэнцано, Вольтри, Пра, Пельи, Сестри-Поненте, Сан-Пьер д'Арена, а справа – Стурла, Кварто, Квинто, Нерви, Больяско, Сори Рекко и Камольи – последняя белая точка на мысе Портофино, замыкающем Генуэзский залив с юго-востока.

Генуя поднимается над своим огромным портом на первые уступы Альп, которые высятся за нею, изгибаясь гигантской стеной. На дамбе стоит очень высокая квадратная башня, маяк, называемый «фонарем» и похожий на непомерно длинную свечу.

Прежде всего попадаешь во внешнюю гавань, в обширный, прекрасно защищенный бассейн, где шныряет в поисках работы флотилия буксирных пароходов; затем, обогнув восточный мол, вы оказываетесь в самой гавани, населенной целым полчищем кораблей, красивых кораблей Востока и Юга самых очаровательных оттенков – тартан, баланчелл, магон, расписанных, оснащенных парусами и мачтами с совершенно неожиданной изобретательностью, несущих на себе голубых и золоченых мадонн, святых, выпрямившихся на носу корабля, и причудливых зверей, которые тоже являются их священными покровителями.

Весь этот флот с его мадоннами и талисманами выстроен вдоль набережных, а своими острыми и разнокалиберными носами обращен к центру бассейна. Далее видны распределенные по пароходным компаниям мощные железные пароходы, узкие, высокие, с массивными и изящными формами. Среди этих морских странников попадают сплошь белые корабли, большие трехмачтовики, или бриги, облаченные, как арабы, в ослепительную одежду, по которой скользят солнечные лучи.

Если нет ничего красивее входа в гавань, то нет ничего грязнее входа в город. Бульвар на набережной – это болото нечистот, а узкие, извилистые улицы, стиснутые, как коридоры, между двумя неровными рядами непомерно высоких домов, непрестанно вызывают тошноту своими омерзительными испарениями.

Генуя производит то же впечатление, что Флоренция и еще более Венеция, – впечатление в высшей степени аристократического города, оказавшегося во власти черни.

Здесь все время приходят на ум суровые вельможи, которые сражались или торговали на море, а затем построили на деньги, полученные от военной добычи, от пленников или от торговли, те дивные мраморные дворцы, которые и поныне стоят на главных улицах города.

Когда попадаешь в эти великолепные жилища, отвратительно размазанные потомками великих граждан горделивейшей из республик, и когда сравниваешь их стиль, их дворы, сады, портики, внутренние галереи, всю эту декоративную и великолепную планировку здания с варварской роскошью самых красивых особняков современного Парижа, с дворцами миллионеров, которые не знают толку ни в чем, кроме денег, которые не в состоянии измыслить и пожелать что-нибудь новое, прекрасное и создать это при помощи своего золота, — начинаешь постигать, что подлинная утонченность ума, понимание изысканной красоты мельчайших форм, совершенства пропорций и линий исчезло из нашего демократизированного общества, этой смеси богатых финансистов, лишенных вкуса, и выскочек, лишенных традиций.

Интересно отметить эту банальность современных особняков. Пройдитесь по старинным генуэзским дворцам, и вы увидите вереницу парадных дворов с галереями и колоннадами и мраморные лестницы невероятной красоты, причем все они по-разному задуманы и выполнены истинными художниками для людей с развитым и требовательным вкусом.

Обойдите старинные французские замки; вы найдете в них те же стремления к постоянному обновлению стиля и орнамента.

А потом пойдите в богатейшие дома современного Парижа. Вы будете восхищаться в них любопытными старинными вещами, тщательно занесенными в каталоги, пронумерованными, выставленными под стеклом соответственно их рыночной ценности, установленной экспертами, но вас никогда не поразит оригинальность и новизна отдельных частей самого жилища.

Архитектору поручают выстроить великолепный дом ценой в несколько миллионов франков, а платят ему пять — десять процентов стоимости работ по украшению здания, которые он должен предусмотреть в своем плане.

Обойщику на несколько иных условиях поручают отделать дом. Так как этим дельцам хорошо известно прирожденное отсутствие художественного чутья у клиента, то они и не рискуют предлагать ему что-нибудь новое, а довольствуются тем, что более или менее повторяют уже сделанное ими раньше для других.

После того как осмотришь в Генуе старинные и благородные жилища и полюбишься несколькими картинами, особенно же тремя чудными творениями того великого мастера кисти, которого зовут Ван-Дейк, остается лишь осмотреть Кампо Санто, современное кладбище, музей надгробных изваяний, самый оригинальный, самый удивительный, самый жуткий и, пожалуй, самый комический музей на свете. Огромная галерея опоясывает четырехугольный монастырский двор, который покрыт, как снегом, белыми надгробными плитами бедняков; по этой галерее вы проходите мимо вереницы мраморных буржуа, оплакивающих своих покойников.

Что за странность! Исполнение этих фигур свидетельствует о замечательной искусности, о подлинной талантливости мастеров. Ткань платьев, курток, панталон изображена с поразительным мастерством. Я видел, например, муаровое платье, причем переливы были с невероятной правдоподобностью переданы на отчетливых складках материи. И вместе с тем трудно представить себе что-либо более уродливо-карикатурное, более чудовищно-вульгарное, недостойно-пошлое, чем эти люди, оплакивающие своих любимых родственников.

Чья здесь вина? Скульптора ли, который в физиономиях своих моделей не разглядел ничего, кроме вульгарности современного буржуа, и не сумел найти в них тот высший отблеск человечности, который так хорошо постигли фламандские художники, с величайшим мастерством изображая самые обыденные и некрасивые типы своего народа? Или, может быть, это вина буржуа, которого низменная демократическая цивилизация отшлифовала, как море шлифует гальку, соскабливая, стирая его отличительные черты и лишив его в результате такого обтесывания последних признаков оригинальности, которыми природа некогда, казалось, наделила каждый общественный класс?

Генуэзцы, видимо, очень гордятся этим изумительным музеем, сбивающим с толку критику.

Начиная от Генуэзской гавани до мыса Порто-фино, между синевой моря и зеленью горы, по взморью тянутся, как четки, города — целая россыпь маленьких домиков. Юго-восточный бриз вынуждает нас лавировать. Он не очень силен, но внезапные его порывы накрывают яхту, гонят ее рывками вперед, словно коня, закусившего удила, и два валика пены бурлят у ее носа, как слюна морского зверя. Потом ветер стихает, и судно, успокоившись, снова мирно идет своим путем, который в зависимости от галса то удаляет его от итальянского побережья, то приближает к нему. Около двух часов дня капитан, разглядывавший в бинокль горизонт, чтобы по парусам и по галсу других судов определить силу и направление воздушных течений в этих местах, где в каждом заливе дует свой ветер, то бурный, то легкий, и перемены погоды наступают так же быстро, как нервные припадки у женщин, внезапно заявил мне:

— Надо спустить гафтопсель, сударь. Оба брига впереди нас только что убрали верхние паруса. Видно, там сильно дует.

Последовала команда; длинный вздувшийся парус спустился с вершины мачты и скользнул, обвислый и дряблый, еще трепеща, как подстреленная птица, вдоль фока, который уже начинал предчувствовать предсказанный и приближающийся шквал.

Волн не было совсем. Только кое-где небольшие барашки. Но вдруг вдали перед нами я увидел совершенно белую воду, такую белую, точно по ней разостлали простыню. Она двигалась, приближалась, спешила нам навстречу, и, когда эта пенящаяся полоса оказалась на расстоянии нескольких сот метров, паруса яхты внезапно дрогнули от сильного порыва ветра, который мчался по поверхности моря, гневный и бешеный, срывая с нее ключья пены, как рука, которая ощипывает пух с груди лебедя. И весь этот пух, сорванный с воды, вся эта эпидерма пены порхала, летала, разносилась под невидимым и свистящим напором шквала. Яхта, накренившись на бок, погрузясь бортом в плещущие, заливавшие палубу волны, с натянутыми вантами, с трещавшими мачтами, понеслась бешеным аллюром, как бы охваченная головокружительной, безумной жадной скоростью. И, право, какое несравнимое опьянение, какое невообразимо увлекательное чувство — так вот, напрягая все мускулы, от щиколоток до самой шеи, держать обеими руками длинный железный руль и вести сквозь бурю это бешеное и безвольное существо, покорное и безжизненное, сооруженное из дерева и холста!

Бешеный шквал продолжался всего лишь три четверти часа, и когда Средиземное море снова окрасилось в свой красивый голубой цвет, воздух стал сразу таким мягким, что, казалось мне, дурное настроение неба рассеялось. Гнев улегся; наступил конец неприветливому утру, и радостный смех солнца широко разлился по всему морскому простору.



Мы приближались к мысу, и я увидел на самой его оконечности, у подножия отвесной прибрежной скалы, в месте, по-видимому, недоступном, церковь и три дома. Боже мой! Да кто же в них живет? Что эти люди могут там делать? Как общаются они с прочими смертными? Уж не при помощи ли одной из двух маленьких лодочек, вытасненных на узкую полосу берега?

Вот мы обогнули мыс. Берег тянется до Порто-Венере при входе в залив Специя. Весь этот участок итальянского побережья бесподобно пленителен.

В широкой и глубокой бухте, открывшейся перед нами, виднеется Санта-Маргерита, далее Рапалло, Кьявари, а еще дальше – Сестри-Леванте.

Яхта, повернув на другой галс, скользила на расстоянии двух кабельтовых от скал, и вот в конце мыса, который мы только что обогнули, внезапно открылось ущелье, куда вливается море, скрытое ущелье, которое едва можно найти, заросшее пиниями, оливковыми и каштановыми деревьями. Крошечная деревушка Порто-фино расположилась полумесяцем вокруг этой тихой заводи.

Медленно проходим мы по узкому проливу, соединяющему с открытым морем прелестную естественную гавань, и проникаем в этот амфитеатр домов, увенчанный лесом с пышной и свежей зеленью; все это отражается в спокойном круглом зеркале воды, где словно дремлют несколько рыбацких лодок.

Одна из них приближается к нам; на веслах сидит старик. Он здоровается с нами, поздравляет с благополучным прибытием, указывает, где пристать, берет у нас канат для причала, чтобы отвезти его на берег, возвращается предложить свои услуги и советы, все, что нам может понадобиться, – словом, оказывает нам гостеприимство в этом рыбацком поселке. Он начальник порта.

Пожалуй, ни разу еще во всю мою жизнь я не испытывал такого удовольствия, как при входе в эту маленькую зеленую бухту, и ни разу еще не охватывало меня более глубокое и благотворное чувство покоя, умиротворения и отдыха от той бесплодной суеты, в которой барахтается наша жизнь, чем то, какое я испытал, когда звук брошенного якоря возвестил всему моему восхищенному существу, что мы прочно стали на месте.

Вот уже неделя, как я увлекаюсь греблей. Яхта стоит неподвижно на микроскопическом и тихом рейде; я же плаваю в своей шлюпке вдоль берега, забираюсь в пещеры, где море ревет на дне невидимых ям, огибаю островки с причудливыми и изрезанными берегами, которые оно, набегая, всякий раз увлажняет своими поцелуями, скольжу над подводными камнями, почти что выступающими из воды и покрытыми гривой морских водорослей. Я люблю смотреть, как колеблются подо мною от едва заметного движения волны эти длинные красные или зеленые растения, среди которых кишат, прячутся и скользят бесчисленные семьи едва появившихся на свет мальков. Кажется, что это живут и плавают всходы серебряных иголок.

Переводя взгляд на прибрежные скалы, я вижу на них группы голых мальчишек с загорелыми телами, удивленно глядящих на незнакомого скитальца. Они так же бесчисленны, как другое порождение моря – выводок молодых тритонов, только вчера родившихся, которые резвятся и карабкаются на гранитные берега, чтобы подышать воздухом широких просторов. Этим мальчуганов можно найти во всех расселинах, они стоят на вершинах скал, и их изящные, стройные фигуры вырисовываются на фоне итальянского неба, как бронзовые статуэтки. Другие сидят, свесив ноги, на краю больших камней, отдыхая между двумя прыжками в воду.

Мы покинули Порто-фино для стоянки в Санта-Маргерита. Это не гавань, но глубокая бухта, несколько защищенная дамбой.

Суша здесь настолько пленительна, что почти забываешь о море. Город защищен выступом, образуемым двумя горами. Их разделяет долина, идущая по направлению к Генуе. По обе ее стороны разбегается бесчисленное множество дорожек, заключенных между двумя каменными стенами высотой приблизительно в один метр; эти дорожки, узкие, каменистые, пересекают одна другую, поднимаются и спускаются, идут вправо и влево, то в виде рвов, то в виде лестниц, отделяя друг от друга бесчисленные поля, или, вернее, сады оливковых и фиговых деревьев, увитых красными гирляндами виноградных лоз. Сквозь сожженную солнцем листву лоз, взобравшихся на деревья, видны уходящие в бесконечную даль синее море, красные мысы, белые селения, еловые леса на склонах гор и высокие серые гранитные вершины. Перед домами, там и сям попадающимися на пути, женщины плетут кружева. Впрочем, в здешних местах почти не встретишь дома, на пороге которого не сидели бы две-три рукодельницы, занятые этой работой, переходящей по наследству; они перебирают ловкими пальцами бесчисленное множество белых и черных нитей, на концах которых висят и подскакивают в непрерывной пляске короткие желтые деревянные палочки. Кружевницы нередко красивы, рослы, с гордой осанкой, но неряшливы, плохо одеты и совершенно лишены кокетства. В жилах у многих еще течет сарацинская кровь.

Однажды на углу деревенской улицы мимо меня прошла одна из них, и я был поражен ее изумительной красотой, какой до тех пор, пожалуй, еще не встречал.

Под тяжелой копной ее темных волос, разметавшихся вокруг лба, небрежно и наспех зачесанных, виднелось продолговатое и смуглое лицо восточного типа, лицо дочери мавров, от которых она унаследовала и величавую поступь; но солнце флорентинок придало ее коже золотистый оттенок. Ее глаза – какие глаза! – продолговатые, непроницаемо-черные, словно не глядя, излучали ласку из-под ресниц, таких длинных и густых, каких я никогда не видывал. А кожа вокруг этих глаз была так темна, что если бы я не видел ее при ярком дневном свете, то заподозрил бы тут искусственные приемы наших светских дам.

Когда встречаешь одну из таких женщин, одетых в лохмотья, так и хочется схватить ее и унести хотя бы для того, чтобы украшать ее, говорить ей, как она прекрасна, восхищаться ею. Что нужды в том, что они не понимают тайны наших восторгов; бессмысленные, как все идолы, обворожительные, подобно им, они созданы только для того, чтобы восторженные сердца любили их и воспевали в словах, достойных их красоты!

Все же, если бы мне предложили выбор между самой прекрасной из живых женщин и женщиной, написанной Тицианом, которую я снова увидел неделю спустя в центральном круглом зале Уффици во Флоренции, я выбрал бы женщину Тициана.

К Флоренции, которая манит меня, как город, где мне когда-то более всего хотелось жить, которая таит в себе невыразимое очарование для моих глаз и для моего сердца, я испытываю вдобавок почти чувственное влечение, вспоминая образ лежащей женщины, дивной мечты о плотской прелести. Когда я вспоминаю об этом городе, настолько полном чудес, что к концу дня возвращаясь домой усталым и разбитым оттого, что слишком много перевидал, подобно охотнику, который слишком много ходил, то передо мной среди всех других воспоминаний возникает это большое продолговатое ослепительное полотно, где покоится большая женщина, бесстыдная, нагая и белокурая, бодрствующая и спокойная.

Потом, после нее, после этого воплощения силы соблазна, свойственного человеческому телу, передо мною встанут нежные и целомудренные мадонны, прежде всего мадонны Рафаэля: Мадонна с щегленком, Мадонна Гран Дукка, Мадонна делла Седиа и еще другие, бесплотные и мистические мадонны примитивов, с их невинными чертами лица, с бледными волосами, а также мадонны, полные плотской силы и здоровья.

Блуждая не только по этому единственному в своем роде городу, но и по всей этой стране, по Тоскане, где люди эпохи Возрождения обильно разбросали шедевры искусства, спрашиваешь себя в изумлении, что же представляла собою эта экзальтированная и плодовая душа, опьяненная красотой, охваченная безумным творческим порывом, душа этих поколений, бредивших искусством? В церквах маленьких городов, куда отправляются в поисках того, что не указано в путеводителях для рядовых путешественников, вы находите на стенах в глубине хоров бесценную живопись скромных великих мастеров, которые не продавали своих полотен в Америку, тогда еще не исследованную, и, окончив свой труд, уходили, не помышляя стать богачами, и работали для одного искусства, как благочестивые труженики.

И поколение это, не ведавшее слабости, не оставило после себя ничего посредственного. Тот же отблеск неувядаемой красоты, вышедшей из-под кисти живописца, из-под резца ваятеля, проглядывает и в каменных фасадах построек. Церкви и часовни полны скульптурами Луки делла Роббиа, Донателло, Микеланджело, а их бронзовые двери – творения Бонанна или Джованни да Болонья.

Придя на площадь Синьории и остановившись против Лоджии деи Ланци, вы сразу видите под одним и тем же портиком Похищение сабинянок и Геркулеса, побеждающего Кентавра Джованни да Болонья, Персея с головой Медузы Бенвенуто Челлини, Юдифь и Олоферна Донателло. Всего лишь несколько лет тому назад там же стоял и микеланджеловский Давид.

Но чем больше опьяняет, чем больше покоряет вас прелесть этого путешествия по целому лесу художественных творений, тем сильнее также начинаете вы испытывать странное, болезненное чувство, которое вскоре примешивается к радости созерцания. Его вызывает удивительный контраст между современной толпой, такой пошлой, такой невежественной, и теми местами, где она живет. Вы чувствуете, что чуткий, гордый и утонченный дух прежнего, исчезнувшего народа, который усеял эту почву шедеврами, не волнует более голов, покрытых круглыми шляпами шоколадного цвета, не зажигает равнодушных глаз, не возвышает этот лишенный мечты народ над его вульгарными желаниями.

На обратном пути к побережью я остановился в Пизе, чтобы еще раз взглянуть на соборную площадь.

Кто сумеет объяснить проникновенную и грустную прелесть некоторых почти умерших городов?

Такова Пиза. Едва вы вступаете в нее, как вашу душу охватывает меланхолическое томление, какое-то бессильное желание уехать и остаться, ленивое желание бежать и бесконечно упиваться тоскливой сладостью ее воздуха, ее неба, ее домов, ее улиц, где живет самое спокойное, самое унылое и молчаливое на свете население.

Желтоватая река Арно пересекает город, плавно извиваясь между двумя высокими крепостными стенами, по которым проходят два главных проспекта с желтоватыми, как и река, домами, гостиницами и несколькими скромными дворцами.

Одиноко стоящая на набережной, извилистый путь которой она неожиданно преграждает, маленькая часовня Санта-Мария делла Спина в стиле французских церквей XIII века возносит над водой свой резной профиль ковчегца с мощами. Видя ее на самом берегу реки, можно подумать, что это изящная готическая прачечная пресвятой девы, куда ангелы по ночам приносят полоскать поношенные ризы мадонн.

Улица Санта-Мария ведет на соборную площадь.

Для людей, которых еще может взволновать и растрогать красота и мистическая мощь памятников искусства, не существует, конечно, на всей земле ничего более удивительного и более поражающего, чем эта обширная, заросшая травой площадь, со всех сторон замкнутая высокими крепостными стенами, в которых заключены во всем их разнообразии и выразительности собор, Кампо-Санто, Баптистерий и Падающая башня.

Когда вы доходите до края этого пустынного и заросшего поля, обнесенного старинными стенами, где перед вашими глазами встанут вдруг эти четыре гигантских мраморных творения, поражающие своими очертаниями, цветом, гармоническим и гордым изяществом, вы останавливаетесь, пораженный изумлением и восторгом, как перед редчайшим и грандиознейшим зрелищем, какое только может представить взору человеческое искусство.

Но собор с его невыразимой гармонией, непреодолимой мощью пропорций и великолепием фасада вскоре привлекает все ваше внимание.

Это базилика XI века в тосканском стиле, вся из белого мрамора, с инкрустациями черного и цветных мраморов. Стоя перед этим совершеннейшим памятником романо-итальянского зодчества, вы не испытываете того изумления, какое внушают некоторые готические соборы своим смелым взлетом, изяществом башен и колоколенок, каменным кружевом, которым они как бы окутаны, и колоссальной диспропорцией между своей высотой и основанием.

Зато здесь вас до такой степени поражает и захватывает безупречность пропорций, непередаваемое очарование линий, форм и

фасада и статуи внизу украшены пилястрами, связанными между собой аркадой, а наверху четыре галереи колонок, все уменьшающихся с каждым этажом, что пленительность этого памятника сохраняется в вашей душе, как воспоминание о дивной поэме, о пережитом волнении.

Бесполезно описывать эти вещи, их надо видеть, и притом видеть на фоне здешнего неба, этого классического неба особой синевы, где медленно плывущие облака, свернувшиеся на горизонте серебристыми клубами, кажутся скопированными природой с картин тосканских мастеров, ибо эти старинные художники были реалистами, пропитанными итальянским воздухом; лгут лишь те мастера, которые подражали им под французским солнцем.

Колокольня позади собора, вечно наклоненная, словно готовая упасть, иронизирует над заложенным в нас чувством равновесия, а против нее Баптистерий закругляет свой высокий конусообразный купол перед воротами Кампо-Санто.

Это старинное кладбище, фрески которого, по общему признанию, представляют величайший интерес, опоясывает очаровательная галерея, полная проникновенной и меланхолической прелести; посреди кладбища растут две древние липы, скрывающие в своей густой листве столько сухих ветвей, что при каждом порыве ветра они производят странный шум, напоминающий стук костей.

Дни бегут, лето на исходе. Я хочу посетить еще одну далекую страну, где другие люди оставили не так хорошо уцелевшие, но тоже вечные следы. И, право, они одни сумели подарить своему отечеству Всемирную выставку, которую не перестанут посещать во все грядущие века.

## СИЦИЛИЯ

Во Франции считается, что Сицилия – страна дикая и что ездить по ней трудно и даже опасно. Время от времени какой-нибудь путешественник, слышущий за смельчака, рискует доехать до Палермо и, возвратившись, объявляет, что это чрезвычайно интересный город. Вот и все. Но чем же, собственно, интересны Палермо да и вся Сицилия? У нас этого в точности не знают. По правде говоря, все дело в моде. Этот остров, эта жемчужина Средиземного моря, не принадлежит к числу тех стран, которые принято посещать, знакомство с которыми считается признаком хорошего вкуса и которые, как Италия, входят в программу образования благовоспитанного человека.

Между тем Сицилия должна бы привлекать путешественников с двух точек зрения, ибо ее естественные красоты и красоты художественные столь же своеобразны, как и замечательны. Известно, насколько плодородна эта страна, которую называли житницей Италии, и как бурно протекала ее история: все народы, один за другим, завоевывали Сицилию и владели ею – до того велико было их стремление обладать ею, заставлявшее столько людей драться и умирать за нее, как за страстно желанную красавицу. Подобно Испании, это страна апельсинов, цветов, воздух которой весной – сплошной аромат; и каждый вечер она зажигает над морем чудовищный маяк – Этну, величайший в Европе вулкан. Но прежде всего необходимо посетить эту единственную в мире страну потому, что она сплошь представляет собою оригинальный и полный чудес музей памятников архитектуры.

Архитектура умерла в наши дни, в наш век, который хотя еще остается веком искусства, но, по-видимому, утратил способность творить красоту из камней, таинственный дар очаровывать гармонией линий, чувство грации в зданиях. Мы словно уже не можем понять, уже не знаем того, что одна лишь пропорциональность стены может вызвать в душе человека такую же эстетическую радость, такое же тайное и глубокое волнение, как шедевры Рембрандта, Веласкеса или Веронезе.

На долю Сицилии выпало счастье принадлежать поочередно плодовитым народам, приходившим то с севера, то с юга, усеявшим ее землю памятниками зодчества бесконечно разнообразными, где неожиданно и органически соединились самые противоположные влияния. Отсюда возникло особое искусство, неизвестное в других местах, в котором преобладает арабское влияние среди греческих и даже египетских реминисценций, в котором суровость готического стиля, ввезенного норманнами, смягчается дивным искусством византийских архитектурных украшений и орнамента.

Доставляет утонченное наслаждение отыскивать в этих восхитительных памятниках отличительные черты каждого искусства, подмечать то деталь, пришедшую из Египта, вроде занесенных арабами копьевидно заостренных сводов, выпуклых, или, вернее сказать, подвесных сводов, напоминающих сталактиты морских пещер, то чисто византийский орнамент или великолепные готические фризы, которые среди этих несколько приземистых церквей, построенных норманскими государями, внезапно пробуждают воспоминание о высоких соборах северных стран.

Когда повидаешь все эти памятники, которые хотя и принадлежат к различным эпохам и происходят из разных источников, но имеют один и тот же характер, одну и ту же природу, можно смело сказать, что они не готические, не арабские, не византийские, но сицилийские; можно утверждать, что существуют сицилийское искусство и сицилийский стиль, всегда легко распознаваемый и, несомненно, самый очаровательный, самый разнообразный, самый красочный и самый богатый фантазией из всех существующих архитектурных стилей.

Именно в Сицилии и можно найти наиболее прекрасные и законченные образцы античной греческой архитектуры среди пейзажей несравненной красоты.

Всего легче путь в Палермо из Неаполя. Когда вы сходите на берег, вас поражает оживление и веселость этого большого города с двумястами пятьюдесятью тысячами жителей, полного лавок и шума; в нем меньше сутолоки, чем в Неаполе, но не меньше жизни. Прежде всего вы останавливаетесь перед первой встретившейся вам тележкой. Эти тележки – небольшие квадратные ящики на высоких желтых колесах, украшенные наивной и оригинальной живописью, изображающей исторические события или события из частной жизни, всевозможные приключения, битвы, встречи монархов, особенно же сражения времен Наполеона I и крестовых походов. Какое-то странное резное приспособление из железа и дерева поддерживает колеса на оси; спицы также покрыты резьбой. У животного, которое их везет, один помпон на голове, а другой – посередине спины; сбруя нарядная и пестрая, причем каждый ее ремешок украшен красной шерстью и крошечными бубенчиками. Эти расписные тележки, разнообразные и забавные, разъезжают по улицам, привлекая взоры и внимание; это какие-то передвигающиеся загадки, которые все время пытаешься разгадать.

Расположение Палермо чрезвычайно своеобразно. Город, лежащий посередине широкого амфитеатра обнаженных гор голубовато-серого оттенка, тронутого кое-где красным, разделен на четыре части двумя большими прямыми улицами, которые перекрещиваются в центре. С этого перекрестка в конце огромных коридоров, образованных домами, видны в трех направлениях горы, а в конце четвертого – море, синее, ярко-синее пятно, которое кажется совсем близким, словно город свалился в воду!

В день моего приезда меня преследовало одно неотвязное желание: мне хотелось увидеть Дворцовую капеллу, о которой мне говорили как о чуде из чудес.

Дворцовая капелла – самая прекрасная в мире и самая удивительная религиозная драгоценность, порожденная человеческой мыслью и выполненная рукой художника, – заключена в тяжеловесном здании королевского дворца, старинной крепости, построенной норманнами.

У этой капеллы нет наружного фасада. Вы входите во дворец, где вас прежде всего поражает изящество внутреннего двора, окруженного колоннадой. Красивая лестница с прямоугольными поворотами неожиданно создает чрезвычайно эффектную перспективу. Против входной двери находится другая дверь, пробитая в стене дворца и выходящая на далекие поля; внезапно открывая перед вами узкий и глубокий горизонт, она как будто уносит вас в безграничные дали и к беспредельным грезам через это сводчатое отверстие, которое, завладев вашим взглядом, неудержимо увлекает его к синей вершине горы, виднеющейся там, далеко-далеко, над огромной равниной апельсиновых рощ.

Когдаходишь в капеллу, сразу же останавливаешься в изумлении, как перед каким-то чудом, силу которого ощущаешь, еще не успев его понять. Спокойная и многоцветная, неотразимая и глубоко волнующая красота маленькой церковки – этого подлинного шедевра – покоряет вас с первого же взгляда; вы останавливаетесь, как зачарованный, перед ее стенами, покрытыми огромными мозаиками на золотом фоне: они излучают мягкое сияние, и весь храм как бы светится тусклым светом, увлекакая мысль к библейским и божественным пейзажам, где оживают под огненными небесами все те, кто был причастен к жизни богочеловека.

Впечатление, производимое этими сицилийскими памятниками зодчества, особенно сильно потому, что, на первый взгляд, в них больше поражает декоративное искусство, чем искусство архитектуры.

Гармония линий и пропорций служит лишь рамкой для гармонии цветовых оттенков.

Входя в наши готические соборы, испытываешь впечатление суровое, почти печальное. Их величие внушительно, их грандиозность поражает, но не пленяет. Здесь же вы побеждены, тронуты той почти чувственной прелестью, которую привносят краски в красоту форм.

Люди, которые задумали и создали эти церкви, полные света и все же темные, имели, несомненно, совсем иное представление о религиозном чувстве, чем зодчие немецких или французских соборов: их своеобразный талант стремился главным образом к тому, чтобы впустить свет в эти изумительно украшенные нефы, но так, чтобы его не чувствовали, не видели, чтобы он проскользнул сюда незаметно, лишь слегка касаясь стен и создавая таинственную и очаровательную игру красок, чтобы казалось, будто свет исходит из самых стен, из огромных золотых небес, населенных апостолами.

Дворцовая капелла, построенная в 1132 году королем Рожером II в норманском готическом стиле, представляет собою небольшую базилику в три нефа. Она имеет всего тридцать три метра в длину и тринадцать метров в ширину; это игрушка, драгоценность.

Два ряда великолепных мраморных колонн, все разных цветов, уходят под купол, откуда на вас глядит колоссальный Христос, окруженный ангелами с распростертыми крыльями. Мозаика, украшающая заднюю стену левой боковой капеллы, представляет поразительную картину. Она изображает Иоанна Крестителя, проповедующего в пустыне. Это словно картина Пюви де Шаванна, но более красочная, более мощная, более наивная, менее надуманная, созданная вдохновенным художником во времена исступленной веры. Пророк обращается с речью к нескольким лицам. За ним – пустыня, а в глубине – синеющие горы, те горы, с мягкими очертаниями, окутанными дымкой, которые знакомы всем путешествовавшим по Востоку. Над святым, вокруг святого, позади святого – золотое небо, настоящее небо видений, где как будто присутствует бог.

Возвращаясь к входным дверям, вы останавливаетесь под кафедрой; это просто-напросто квадратная глыба бурого мрамора, окруженная беломраморным фризом с мелкими мозаичными инкрустациями и поддерживаемая четырьмя колоннами, покрытыми тонкой резьбой. Поражаешься, чего может достигнуть вкус, чистый вкус художника при помощи столь ничтожных средств.

Весь дивный эффект этих церквей построен вообще на сочетании и противопоставлении мрамора и мозаики. Это их характерная особенность. Нижняя часть стен, белая и украшенная лишь мелким орнаментом, тонкой каменной вышивкой, оттеняет своей нарочитой простотой красочную роскошь монументальной живописи, покрывающей верхнюю часть стен.

Но даже в этой мельчайшей вышивке, которая, как цветное кружево, окаймляет нижнюю часть стен, встречаются очаровательные мотивы величиной с ладонь; таковы, например, два павлина, несущие крест на скрещенных клювах.

Этот же стиль внутренней отделки можно видеть во многих палермских церквях. Мозаики Мартораны по выполнению, пожалуй, еще замечательнее, чем мозаики Дворцовой капеллы, но нигде в мире не встретишь той изумительной целостности, которая делает капеллу – это дивное произведение искусства – единственной и непревзойденной.

Я медленно возвращаюсь в гостиницу Пальм, у которой один из лучших садов в городе, настоящий сад теплых стран, полный огромных и причудливых растений. Один путешественник, сидя со мною рядом на скамейке, рассказал мне за несколько минут все события текущего года, потом перешел к событиям прошлых лет и между прочим заметил:

– Это случилось в то время, когда здесь жил Вагнер.

Я удивился:

– Как, здесь, в этой гостинице?

– Именно. Здесь он дописывал последние ноты Парсифаля и держал корректуру.

И я узнал, что знаменитый немецкий композитор провел в Палермо целую зиму, покинув этот город лишь за несколько месяцев до смерти. Здесь, как и повсюду, он выказывал несносный характер, невероятную гордыню и оставил о себе воспоминание как о самом неуживчивом человеке.

Я захотел осмотреть помещение, которое занимал гениальный музыкант, ибо мне казалось, что он должен был оставить в нем частичку своего «я» и что мне попадетсa какая-нибудь вещь, которая ему нравилась, любимое кресло, стол, за которым он работал, какой-нибудь след его пребывания, его пристрастий или привычек.

Сперва я ничего не увидел, кроме прекрасного номера гостиницы. Мне сообщили, какие изменения он в нем велел произвести, показали место, как раз посередине комнаты, где стоял диван, на который он нагромождал пестрые, шитые золотом ковры.

Но вот я открыл дверцу зеркального шкафа.

Восхитительный сильный запах пахнул оттуда, как ласка легкого ветерка, пронесшегося над полем розовых кустов.

Сопровождавший меня хозяин гостиницы сказал:

– Здесь он держал свое белье, надушенное розовой эссенцией. Теперь уж этот запах не улетучится никогда.

Я упивался этим дыханием цветов, запертым в шкафу, забытым, заточенным в нем, и мне казалось, что я нахожу в этом дуновении что-то от Вагнера, частичку его самого, частичку его желаний, частичку его души, запечатлевшуюся в этих пустяжных, тайных и любимых привычках, составляющих интимную жизнь человека.

Потом я пошел побродить по городу.

Нет людей, менее схожих между собой, чем сицилийцы и неаполитанцы. Неаполитанец из простонародья – всегда на три четверти паяц. Он жестикулирует, суетится, беспричинно воодушевляется, разговаривает жестами столько же, сколько и словами, и передает мимикой все, о чем говорит; он всегда любезен ради выгоды, ласков как из хитрости, так и по природе и отвечает шуточками на неприятные замечания.

В сицилийце же много арабского. От араба у него серьезная важность, хотя, как итальянец, он обладает очень живым умом. Природная надменность, любовь к титулам, самый характер гордости и черты лица скорее приближают его к испанцу, чем к итальянцу. Но что непрестанно вызывает в вас глубокое впечатление Востока, едва вы вступаете на почву Сицилии, – это тембр голоса, носовые интонации уличных разносчиков. Повсюду слышишь здесь пронзительную ноту арабских голосов, эту ноту, которая как бы спускается от лба к горлу, между тем как на севере она подымается из груди в рот. И песня, протяжная, однообразная и нежная, – вы слышите ее, проходя мимо открытых дверей дома – по ритму и звучанию та же, которую поет всадник в белом, сопровождающий путешественников по безграничным голым просторам пустыни.

Зато в театре сицилиец снова становится настоящим итальянцем, и для нас чрезвычайно любопытно побывать на каком-нибудь оперном представлении в Риме, в Неаполе или Палермо.

Все впечатления публики прорываются наружу сразу же, с полной непосредственностью. Нервная до крайности, одаренная тонким, восприимчивым слухом, до безумия любящая музыку, вся толпа превращается в единое трепещущее живое существо, которое чувствует, но не рассуждает. За какие-нибудь пять минут она восторженно аплодирует и остервенело шикает одному и тому же актеру; она топает ногами от радости или гнева, а если певец невзначай сфальшивит, то изо всех ртов одновременно вырывается странный, отчаянный, пронзительный вопль. Если мнения разделились, то шиканье и аплодисменты сливаются. Ничто не проходит незамеченным в этом зале, внимательном и взволнованном, который ежеминутно выражает свои чувства, а порою, когда его охватывает взрыв внезапного гнева, начинает реветь, как зверинец, полный взбесившихся диких зверей.

Сейчас сицилийцев приводит в восторг Кармен, и вы с утра до ночи слышите, как прохожие на улице напевают знаменитого «Тореадора».

Улицы в Палермо не представляют собою ничего особенного. Они широки и красивы в богатых кварталах, а в бедных похожи на обычные узкие, извилистые и красочные улицы городов Востока.

Женщины, одетые в яркие, красные, синие или желтые, лохмотья, болтают у своих домов и, когда вы проходите мимо, разглядывают вас черными глазами, сверкающими из-под чащи темных волос.

Порою перед конторой казенной лотереи, работающей без перерыва, как некое богослужение, и приносящей государству крупные доходы, можно наблюдать комическую и типичную сценку.

Против конторы стоит в нише мадонна, прикрепленная к стене; у ее ног горит фонарик. Из конторы выходит человек с лотерейным билетом в руке; он опускает медный грош в церковную кружку, раскрывающую маленький черный зев под статуей мадонны, а затем совершает крестное знамение нумерованной бумажкой, которую только что вверил попечению святой девы, подкрепив это милостыней.

Вы останавливаетесь время от времени перед продавцами видов Сицилии, и ваш взгляд задерживается на странной фотографии, изображающей подземелье с множеством мертвецов, гримасничающих скелетов в причудливых нарядах. Под ней надпись: «Кладбище капуцинов».

Что это такое? Если вы обратитесь с этим вопросом к жителю Палермо, он с отвращением ответит вам:

– Не ходите смотреть на эту мерзость. Это ужасная, дикая вещь, которая, к счастью, должна скоро исчезнуть. Впрочем, там уже несколько лет никого не хоронят.

Трудно добиться более подробных и точных указаний – так сильно, по-видимому, отвращение большинства сицилийцев к этим необыкновенным катакомбам.

В конце концов мне все же удалось узнать следующее. Почва, на которой построен монастырь капуцинов, обладает особым свойством настолько ускорять процесс разложения мертвецов, что через год на костях остается только немного прилипшей к ним высохшей черной кожи, порою с волосами на подбородке и щеках.

Гробы ставят в небольшие боковые склепы, где в каждом помещается от восьми до десяти покойников; по прошествии года гроб вскрывают и вынимают мумию, ужасную, бородатую, сведенную судорогой мумию, которая словно воеет, словно корчится в ужасных муках. Затем скелет подвешивают в одной из главных галерей, где семейство умершего время от времени навещает его. Люди, желавшие, чтобы их законсервировали таким способом, высказывали перед смертью свою волю, и за известную плату, ежегодно вносимую родственниками, они навеки останутся выставленными в ряд под этими мрачными сводами наподобие предметов, хранимых в музеях. Если родные перестают платить, то покойника хоронят обычным способом.

Мне сразу же захотелось осмотреть эту мрачную коллекцию мертвецов.

У ворот небольшого скромного монастыря мне встречается старый капуцин в коричневой рясе и, не говоря ни слова, идет впереди меня, прекрасно зная, что хотят видеть приходящие сюда иностранцы.

Мы проходим через бедную часовню и медленно спускаемся по широкой каменной лестнице. И я вижу вдруг перед собой огромную галерею, широкую и высокую, стены которой уставлены множеством скелетов, одетых самым причудливым и нелепым образом. Одни висят в воздухе бок о бок, другие уложены на пяти каменных полках, идущих от пола до потолка. Ряд мертвецов стоит на земле сплошным строем; головы их страшны, рты словно вот-вот заговорят. Некоторые из этих голов покрыты отвратительной растительностью, которая еще более уродует челюсти и черепа; на иных сохранились все волосы, на других – клоч усов, на третьих – часть бороды.

Одни глядят пустыми глазами вверх, другие вниз; некоторые скелеты как бы смеются страшным смехом, иные словно корчатся от боли, и все они кажутся объятами невыразимым, нечеловеческим ужасом.

И они одеты, эти мертвецы, эти бедные, безобразные и смешные мертвецы, одеты своими родными, которые вытащили их из гробов, чтобы поместить в это страшное собрание. Почти все они облачены в какие-то черные одежды; у некоторых накинуты на голову капюшоны. Впрочем, есть и такие, которых захотели одеть более роскошно – и жалкий скелет с расшитой греческой феской на голове, в халате богатого рантье, лежит на спине, страшный и комичный, словно погруженный в жуткий сон.

Картонная дощечка, как у слепых, висит у них на шее; на ней написаны имя умершего и дата смерти. Эти числа вызывают содрогание. Вы читаете: 1880, 1881, 1882.

Так это, значит, человек или то, что было человеком восемь лет тому назад! Он жил, смеялся, разговаривал, ел, пил, был полон радости и надежд. И вот он теперь! Перед этим двойным рядом неописуемых существ нагромождены ящики и гробы, роскошные гробы черного дерева с медными украшениями, с небольшими застекленными четырехугольными отверстиями, чтобы можно было заглянуть внутрь. Они напоминают сундуки и ящики дикарей, купленные на каком-нибудь базаре отъезжающими «в дальний путь», как сказали бы прежде.

Направо и налево открываются другие галереи, продолжая до бесконечности это подземное кладбище.

Вот женщины, еще более уродливо комичные, чем мужчины, потому что их кокетливо принарядили. Пустые глазницы глядят на вас из-под кружевных, украшенных лентами чепцов, обрамляющих своей ослепительной белизной эти черные лица, жуткие, прогнившие, изъеденные тлением. Руки торчат из рукавов новых платьев, как корни срубленных деревьев, а чулки, облегающие кости ног, кажутся пустыми. Иногда на покойнике надеты одни лишь башмаки, огромные на его жалких, высохших ногах.

А вот и молодые девушки, безобразные создания в белых нарядах с металлическими венчиками вокруг лба, символом невинности. Они кажутся старухами, глубокими старухами, так искажены их лица. А им шестнадцать, восемнадцать, двадцать лет. Какой ужас!

Но вот мы приходим в галерею, полную маленьких стеклянных гробиков: это дети. Едва окрепшие косточки не выдержали. И трудно разглядеть, что, собственно, лежит перед вами, настолько они изуродованы, расплющены и ужасны, эти жалкие детишки. Но слезы навертываются у вас на глаза, потому что матери одели их в маленькие платьица, которые они носили в последние дни своей жизни. И матери все еще приходят сюда поглядеть на них, на своих детей!

Часто около трупа висит фотография, которая показывает покойника, каким он был при жизни; нет ничего более потрясающего и жуткого, чем это сопоставление, чем этот контраст, чем те мысли, которые порождает это сравнение.

Мы проходим через галерею, более сумрачную, более низкую, предназначенную для бедных. В темном углу висит штук двадцать скелетов под слуховым окном, сквозь которое их обвеивает резкими порывами свежий воздух. Они закутаны в какой-то черный холст, завязанный у ног и шеи, и склоняются один к другому; Кажется, что они дрожат от холода, что они хотят бежать, что они кричат: «Помогите!» Можно подумать, что это матросы с тонущего корабля, исхлестанного разгулявшимся ветром; они одеты в коричневую просмоленную парусину, которую моряки надевают в бурю, и еще содрогаются от ужаса последнего мгновения, когда их поглотило море.

А вот квартал священников. Большая почетная галерея! На первый взгляд они кажутся еще страшнее других, эти скелеты в красных, черных и фиолетовых облачениях. Но когда вы ближе присматриваетесь к ним, на вас нападает неудержимый нервный смех при виде их

странных и жутких комических поз. Одни поют, другие молятся. Им запрокинули головы и сложили руки. На макушке их оголенных черепов надеты шапочки, какие священники носят во время богослужения; у одних они лихо сдвинуты на ухо, у других спускаются до самого носа. Какой-то карнавал смерти, которому придает еще более комический характер позолоченная роскошь церковных облачений.

Говорят, что время от времени на землю скатывается та или другая голова: это мышцы перегрызают связки шейных позвонков. Тысячи мышцей живут в этой кладовой человеческого мяса.

Мне показывают человека, умершего в 1882 году. За несколько месяцев перед смертью, веселый и здоровый, он приходил сюда в сопровождении приятеля, чтобы выбрать себе место.

– Вот где я буду, – говорил он и смеялся.

Друг его теперь приходит сюда один и целыми часами глядит на скелет, неподвижно стоящий на указанном месте.

По некоторым праздникам катакомбы капуцинов открыты для уличной толпы. Однажды какой-то пьяница заснул здесь и проснулся среди ночи. Он начал звать, взвыл, растерялся от охватившего его безумного ужаса, стал бросаться во все стороны, пытаясь убежать. Но никто его не услышал. Когда его нашли утром, он так сильно вцепился в решетку входных дверей, что потребовались огромные усилия, чтобы оторвать его.

Он сошел с ума.

С тех пор у дверей повесили большой колокол.

После посещения этих мрачных мест мне захотелось посмотреть на цветы, и я велел отвезти себя на виллу Таска, сады которой, находящиеся посреди апельсиновой рощи, полны дивных тропических растений.

На обратном пути в Палермо я увидел налево от себя городок, расположенный на склоне горы, а на вершине ее – развалины. Этот город – Монреале, а развалины Кастеллаччо, последнее убежище, в котором, как мне сказали, укрывались сицилийские разбойники.

Великий мастер поэзии Теодор де Банвиль написал трактат о французской просодии, трактат, который следовало бы выучить наизусть всем тем, кто пытается сочетать рифмы. Одна из глав этой прекрасной книги озаглавлена «О поэтических вольностях»; вы переворачиваете страницу и читаете:

«Их не существует».

Точно так же, прибыв в Сицилию, вы спрашиваете то с любопытством, то с беспокойством:

– А где же разбойники?

И все вам отвечают:

– Их больше не существует.

В самом деле, вот уже пять или шесть лет, как они перестали существовать. Благодаря тайному покровительству некоторых крупных помещиков, интересам которых они часто служили, но на которых накладывали дань, им удалось продержаться в сицилийских горах до прибытия генерала Палавичини, который до сих пор командует в Палермо. Этот генерал так энергично принялся их преследовать и уничтожать, что вскорости исчезли и последние из них.

Правда, в этой стране часто происходят вооруженные нападения и убийства, но это обыкновенные преступления, совершаемые отдельными злоумышленниками, а не организованными бандами, как в прежние времена.

В общем, Сицилия столь же безопасна для путешественников, как Англия, Франция, Германия или Италия, и тем, кто жаждет приключений в духе Фра-Дьяволо, придется их искать где-нибудь в другом месте.

По правде говоря, человек находится в полной безопасности почти повсюду, за исключением больших городов. Если подсчитать число путешественников, схваченных и ограбленных бандитами в диких странах, а также убитых кочевыми племенами пустыни, и сравнить число несчастных случаев, приключившихся в странах, которые слывут опасными, с теми случаями, какие происходят только за один месяц в Лондоне, Париже или Нью-Йорке, то станет ясно, насколько спокойнее этих столиц страны, внушающие страх.

Мораль: если вы хотите получить удар ножа или лишиться свободы, отправляйтесь в Париж, в Лондон, но не ездите в Сицилию. В этой стране можно разъезжать по дорогам днем и ночью без конвоя и без оружия; вы здесь встретите только людей, полных благожелательности к иностранцам, если не считать нескольких почтовых и телеграфных чиновников. Я говорю, впрочем, лишь о чиновниках Катании.

Итак, на середине склона одной из гор, возвышающихся над Палермо, стоит маленький город Монреале, знаменитый своими старинными памятниками, и в окрестностях этого высоко взгромоздившегося городка подвизались последние разбойники острова. До сих пор сохранился обычай расставлять часовых вдоль всего пути, который туда ведет. Хотят ли этим успокоить или напугать путешественников? Не знаю.

При виде этих солдат, расставленных на некотором расстоянии друг от друга на всех поворотах дороги, невольно приходит на память легендарный часовой французского военного министерства. В течение десяти лет в коридоре, который вел в квартиру министра, ежедневно ставили часового, и он требовал от всех проходящих по коридору, чтобы они держались подалеже от одной из стен; никто не знал, зачем это делалось. Вновь назначенный министр, отличавшийся умом пытливым и вступивший в должность после пятидесяти

других, которые проходили мимо часовой, не обращая на него внимания, заинтересовался причиной такой бдительности.

Никто не мог дать ему объяснений: ни правитель канцелярии, ни столоничальники министерства, уже полвека прочно сидевшие в своих креслах. Но один курьер, человек памятливым, а может быть, писавший мемуары, припомнил, что некогда там был поставлен часовой, потому что в коридоре перекрасили стену, а жена министра, не будучи предупреждена, запачкала краской платье. Краска высохла, а часовой остался.

Так и здесь: разбойники исчезли, а часовые на дороге в Монреале остались. Дорога эта извивается по горе и наконец доходит до города, чрезвычайно оригинального, очень колоритного и страшно грязного. Улицы, идущие уступами, словно вымощены острыми зубьями. Мужчины повязывают здесь головы красными платками, как испанцы.

Вот собор, большое здание, свыше ста метров длиною, в форме латинского креста с тремя абсидами и тремя нефами, отделенными друг от друга восемнадцатью колоннами из восточного гранита, опирающимися на беломраморное основание и на квадратный цоколь из серого мрамора. Поистине изумительный портал обрамляет великолепные бронзовые двери, которые создал Bonannus, civis Pisanus . {«Бонанн, пизанский гражданин» (лат.). }

Внутренность этого храма отделана мозаикой на золотом фоне; богаче, совершенней и поразительней этой отделки ничего нельзя себе представить.

Эта мозаика, крупнейшая в Сицилии, сплошь покрывает стены на поверхности в шесть тысяч четыреста метров . Вообразите себе эту огромную и великолепную роспись, изображающую по стенам храма легендарную историю ветхого завета, миссии и апостолов. На золотом небе, развертывающемся вокруг нефов фантастический горизонт, выступают в размерах больше человеческого роста пророки, возвещающие пришествие бога, Христос и те, кто окружал его.

В глубине алтаря гигантский лик Иисуса, напоминающий Франциска I, царит над храмом, словно наполняя и подавляя его, – так огромен и могуч этот странный образ.

Нельзя не пожалеть, что потолок, разрушенный пожаром, восстановлен так неискусно. Кричащий тон позолоты и слишком яркие краски режут глаза.

Рядом с собором вход в старинный монастырь бенедиктинцев.

Пусть те, кто любит монастырские дворы, пройдутся по двору этого монастыря, и они забудут почти все другие, какие они когда-либо видели.

Как можно не любить монастырские дворы, эти спокойные, прохладные, замкнутые места, как будто придуманные для того, чтобы будить мысль, которая изливается из уст, глубокая и ясная, в то время как вы идете медленным шагом под длинными, навевающими грусть аркадами?

Они словно созданы для того, чтобы породить размышления, эти каменные аллеи, аллеи маленьких колонн, замыкающих небольшой садик, на котором глаз спокойно отдыхает, не отвлекаясь, не рассеиваясь.

Дворы наших северных монастырей отличаются порою слишком монашеской, слишком унылой суровостью, даже самые красивые из них, как, например, дворик монастыря Сен-Вандриль в Нормандии. Сердце в них сжимается, душа мрачнеет.

Загляните, например, в печальный двор картезианского монастыря Верны в диких горах мавров. Холод пронизывает вас там до мозга костей.

И, наоборот, чудесный монастырский двор в Монреале наполняет душу таким чувством красоты, что вы охотно остались бы в нем хоть навсегда. Он обширен, образует правильный квадрат, полон тонкого и пленительного изящества; тот, кто его не видел, не способен и представить себе, как может быть гармонична колоннада. Изысканная соразмерность, невероятная стройность этих легких колонн, идущих попарно, одна возле другой, причем все они разные – то выложенные мозаикой, то совсем гладкие, то украшенные несравненной по тонкости работы скульптурой или простым узором, вырезанным в камне и обвивающимся вокруг них, как растение, – сначала поражают взгляд, потом чаруют, восхищают и порождают ту эстетическую радость, которую глаза передают душе при виде вещей абсолютного художественного вкуса.

Подобно прелестным четам колонн, капители тоже тончайшей работы и тоже отличны друг от друга. И, что редко бывает, восхищаешься одновременно великолепным эффектом целого и совершенством деталей.

Глядя на этот шедевр красоты и изящества, невольно вспоминаешь стихи Виктора Гюго о греческом художнике, который сумел запечатлеть

Красу, подобную улыбке человека,

На очертаньях Пропилей.

Дивная галерея заключена в высокие, очень старые стены со стрельчатыми аркадами; это все, что уцелело от монастыря.

Сицилия – родина, подлинная, единственная родина колоннад. Все внутренние дворы старинных дворцов и старинных домов в Палермо украшены прелестными колоннадами, которые были бы знамениты во всякой другой стране, кроме этого острова, столь богатого памятниками зодчества.



Маленький дворик при церкви Сан-Джованни дельи Эремити, одной из древнейших норманских церквей восточного стиля, хотя и не столь замечателен, как монастырский двор в Монреале, но, тем не менее, гораздо интереснее всего, что мне довелось видеть в этом роде.

Выходя из монастыря, вы попадаете в сад, откуда открывается вид на всю долину, покрытую цветущими апельсиновыми деревьями. Из этой душистой рощи непрерывно несет ветерок, дурманящий ум и волнующий чувства. Кажется, что смутное и поэтическое желание, которое неотвязно преследует душу, витает вокруг нее, неуловимое, сводящее с ума, готово здесь осуществиться. Этот аромат, внезапно окутывающий вас, примешивает к эстетическим радостям изысканное наслаждение, доставляемое благоуханием, и погружает на миг вашу душу и тело в блаженный покой, близкий к чувству счастья.

Я поднимаю глаза на высокую гору, возвышающуюся над городом, и вижу на ее вершине развалины, которые заметил еще накануне. Сопровождающий меня друг расспрашивает местных жителей, и нам отвечают, что этот старинный замок был в самом деле последним убежищем сицилийских разбойников. И поныне почти никто не поднимается в старинную крепость, называемую Кастеллаччо. Не знают даже пути к ней, потому что она стоит на малодоступной вершине горы. Мы решаем туда взобраться. Один палермский житель, гостеприимно показывающий нам свою страну, настаивает на том, чтобы мы взяли проводника, но, не найдя никого, кто хорошо знал бы дорогу, обращается, не предупредив нас, к начальнику полиции.

И вскоре агент, профессия которого была нам неизвестна, начинает вместе с нами взбираться на гору.

Однако он и сам идет неуверенно и по дороге берет себе в помощь товарища, нового проводника, который должен вести и нас и его. Затем оба они начинают расспрашивать встречных крестьян и крестьянок, погоняющих своих ослов. Наконец какой-то священник советует нам идти все прямо вперед. И мы карабкаемся вверх, а за нами – наши проводники.

Дорога становится почти непроходимой. Приходится взбираться на скалы, подтягиваясь на руках. Это длится долго. Пламенное солнце, солнце восточных стран, изливает на наши головы отвесные лучи.

Наконец мы добираемся до вершины среди поразительного и великолепного хаоса огромных камней, торчащих из земли, серых, голых, круглых и остроконечных, которые окружают одичалый и полуразрушенный замок причудливым полчищем скал, уходящим далеко за пределы его стен.

Вид, открывающийся с этой вершины, один из самых изумительных. По склонам ошестившейся горы спускаются глубокие долины, заключенные между другими горами, уходящими в глубь Сицилии бесконечной вереницей вершин и пиков. Против нас море, у наших ног Палермо. Город окружен апельсиновой рощей, которая носит название Золотой Раковины, и эта черно-зеленая роща тянется траурной каймой у подножия серых гор, рыжих гор, словно обожженных, разъеденных и позолоченных солнцем, до того они обнажены и колоритны.

Один из наших проводников исчез. Другой идет за нами к развалинам. Они красивы в своей дикости и очень обширны. При входе чувствуется, что никто их не посещает. Повсюду под ногами гудит изрытая почва; местами видны входы в подземелья. Сопровождающий нас человек рассматривает их с любопытством и говорит, что несколько лет тому назад здесь жило много разбойников. Это было их лучшее и самое грозное убежище. Едва мы начинаем спускаться, появляется первый проводник, но мы отказываемся от его услуг и без труда открываем весьма удобную тропинку, по которой могла бы пройти и женщина.

Можно подумать, что сицилийцы умышленно преувеличивают и множат рассказы о разбойниках, чтобы отпугнуть иностранцев; даже до сегодняшнего дня многие опасаются ступить на этот остров, столь же безопасный, как Швейцария.

Вот одно из последних приключений, которое приписывают преступникам-бродягам. За правдивость этой истории я могу поручиться.

Один выдающийся палермский энтомолог, г-н Рагуза, открыл нового жука, которого долго смешивали с *Polyphilla Olivieri*. И вот некий немецкий ученый, г-н Краац, убедившись, что этот жук принадлежит к совершенно особому виду, и желая заполучить несколько его экземпляров, написал в Сицилию одному из своих друзей, г-ну ди Стефани, который, в свою очередь, адресовался к г-ну Джузеппе Миралья с просьбой поймать несколько таких насекомых. Но жуки исчезли по всему побережью. Как раз в это время г-н Ломбардо Марторана из Трапани сообщил г-ну ди Стефани, что только что поймал более пятидесяти полифилл.

Г-н ди Стефани поспешил предупредить об этом г-на Миралья следующим письмом:

«Дорогой Джузеппе!

*Polyphilla Olivieri*, узнав о твоих смертоубийственных намерениях, избрал иной путь и скрылся на побережье Трапани, где мой приятель Ломбардо захватил уже более пятидесяти».

Тут приключение начинает принимать характер трагикомедии и эпического неправдоподобия.

В это время, по слухам, в окрестностях Трапани бродил разбойник по имени Ломбардо.

Г-н Миралья бросил письмо своего друга в корзинку. Лакей опорожнил корзинку на улицу, а мусорщик, проходивший мимо, подобрал ее содержимое и выбросил в поле. Какой-то крестьянин, увидав в поле красивую голубую бумажку, почти не смятую, поднял ее и положил в карман из предосторожности или из инстинктивного стремления к стяжательству.

Прошло несколько месяцев, потом этого человека как-то вызвали в полицейское управление, где он выронил письмо. Жандарм схватил письмо и представил судье, которому бросились в глаза слова смертоубийственные намерения, избрал иной путь, скрылся, захватил, Ломбардо. Крестьянина посадили в тюрьму, допросили и заперли в одиночную камеру. Он ни в чем не сознался. Его держали под замком и повели строжайшее следствие. Судебные власти опубликовали подозрительное письмо, но так как они по ошибке прочитали «Петронилла Оливьери» вместо «Полифилла», то энтомологи не обратили на него внимания.

Наконец удалось разобрать г-на ди Стефани, и его обвинения были признаны неудовлетворительными. Вызванный, в свою очередь, г-н Миралья в конце концов разъяснил это таинственное дело.

Крестьянин просидел в тюрьме три месяца.

Итак, последний сицилийский разбойник оказался особого вида жуком, известным в науке под именем *Polyphilla Ragusa*.

Теперь путешествовать по страшной Сицилии в экипаже, верхом или даже пешком можно вполне безопасно. Впрочем, самые интересные экскурсии можно совершить почти целиком в экипаже. Главная из них – это экскурсия к храму Сегесты.

Столько поэтов воспело Грецию, что каждый из нас носит ее образ в своем воображении, каждый думает, что немного знает ее, каждый представляет ее себе такую, какой желал бы увидеть.

Для меня эту мечту воплотила Сицилия; она показала мне Грецию, и когда я думаю об этой стране искусства, мне кажется, что я вижу перед собою высокие горы с мягкими классическими очертаниями и на их вершинах храмы, строгие храмы, может быть, немного грузные, но удивительно величественные, какие встречаешь на этом острове повсюду.

Все видели Пестум и восхищались тремя великолепными развалинами, лежащими среди этой голой равнины, которая вдали переходит в море, а с другой стороны замыкается широким полукругом голубоватых гор. Но если храм Нептуна лучше сохранился и, как говорят, выдержан в более чистом стиле, чем храмы Сицилии, то последние расположены среди таких дивных, таких неожиданных пейзажей, что трудно даже вообразить себе то впечатление, которое они производят.

Покинув Палермо, прежде всего проезжаешь через апельсиновую рощу, прозванную Золотою Раковиной; далее железная дорога идет вдоль берега моря – берега сплошь из бурых гор и красных скал. Наконец путь уклоняется в глубь острова, и вы выходите на станции Алькамо-Калатафими.

Далее вы едете по чрезвычайно волнистой местности, похожей на море с чудовищными неподвижными волнами. Лесов нет, очень мало деревьев, только виноградники и хлебные поля; дорога идет в гору между двумя прерывающимися рядами цветущих алоэ. Можно подумать, что они уговорились между собою вознести в небо в один и тот же год и почти в один и тот же день свои огромные странные стебли, неоднократно воспетые поэтами. Бесконечной вереницей тянутся эти воинственные растения, толстые, колючие, в броне и с оружием, словно подняв свои боевые стяги.

После двухчасового примерно пути вы вдруг видите две высокие горы, соединенные отлогим склоном, закругленным в виде полумесяца от одной вершины к другой, а посередине этого полумесяца – профиль греческого храма, одного из тех величественных и прекрасных памятников, которые этот божественный народ воздвигал своим человекоподобным богам.

Приходится делать длинный объезд, чтобы обогнуть одну из этих гор, после чего перед нами появляется тот же храм, но уже со стороны фасада. Теперь нам кажется, что он прислонен к горе, хотя его отделяет от нее глубокий овраг; но она разворачивается за ним и над ним, обнимает, окружает, как будто укрывает и ласкает его. И он с великолепной отчетливостью выделяется всеми своими тридцатью шестью дорическими колоннами на широкой зеленой завесе, служащей фоном огромному зданию, одиноко стоящему среди безбрежно широкого простора.

Когда глядишь на этот величественный и простой пейзаж, чувствуешь, что здесь можно было поставить только греческий храм и что поставить его можно было только здесь. Мастера декоративного искусства, обучавшие человечество, показали, особенно в Сицилии, каким глубоким, утонченным знанием эффектов и компановки они обладали. Дальше я буду говорить о храмах Джирдженти. Храм Сегесты воздвигнут у подножия горы, наверно, гениальным человеком, которому в озарении открылось то единственное место, где надо было его воздвигнуть: этот храм один оживляет беспредельность открывшейся панорамы, придает ей жизнь и божественную красоту.

На вершине горы, вдоль подножия которой нам пришлось следовать, чтобы дойти до храма, находятся развалины театра.

Когда попадаешь в страну, где греки жили или основали некогда свои колонии, достаточно разыскать их театры, чтобы найти место, с которого открываются самые красивые виды. Если они воздвигали свои храмы именно в тех местах, где последние производят наибольший эффект и лучше всего украшают пейзаж, то театры, наоборот, они помещали именно там, где глазу открывалась наиболее волнующая перспектива.

Сегестский театр, расположенный на вершине горы, образует центр целого амфитеатра возвышенностей, окружность которого достигает по меньшей мере от ста пятидесяти до двухсот километров. Вдали, за ближайшими вершинами, глаз различает еще другие, а сквозь широкий пролет, прямо против вас, видно море, синее среди зеленых вершин.

На следующий день после осмотра Сегесты можно посетить и Селинунт – огромное нагромождение рухнувших колонн, одни из которых упали рядами друг подле друга, как убитые солдаты, другие же рассыпаны хаотическими грудами.

Эти развалины гигантских храмов, самые обширные в Европе, наполняют целую равнину и усеивают еще один холм в конце этой равнины. Они тянутся по всему взморью, длинному взморью, покрытому бледным песком, на котором лежит несколько рыбацких лодок, хотя нигде не видно жилья рыбаков. Впрочем, эти бесформенные кучи камней могут заинтересовать только археологов или людей с поэтической душой, которых волнуют следы прошлого.

Джирдженти – древний Агригент, – расположенный, как и Селинунт, на южном берегу Сицилии, представляет самое удивительное собрание храмов, какое только можно увидеть.

На гребне длинного каменистого берега, совершенно голого, огненно-красного, без единой травинки, без единого куста, возвышаются над морем, берегом и гаванью на синем фоне южного неба, – если глядеть снизу, – величественные каменные очертания трех

великолепных храмов.

Они как бы парят в воздухе среди этого великолепного и печального пейзажа. Все мертво, бесплодно и желто вокруг них, перед ними и позади них. Солнце сожгло, испепелило землю. А может быть, и не солнце источило почву, а подземный огонь, который никогда не угасает в жилах этого вулканического острова. Ведь повсюду вокруг Джирдженти тянется своеобразная область серных копей. Здесь все из серы: земля, камни, песок, решительно все.

А они, эти храмы, вечные жилища богов, умерших так же, как и их братья, люди, по-прежнему стоят на диких холмах на расстоянии полукилометра друг от друга.

Вот прежде всего храм Лакинийской Юноны, где, по преданию, хранилась знаменитая картина с изображением Юноны, написанной Зевксисом, который выбрал себе для модели пять самых красивых девушек Акрагаса.

Потом храм Мира, один из наиболее сохранившихся храмов древности, потому что он в средние века служил церковью.

Еще дальше – остатки храма Геркулеса.

И наконец гигантский храм Юпитера, тот храм, который снискал похвалу Полибия и был описан Диодором; он построен в V веке и содержит тридцать восемь полуколонн по шести с половиной метров в окружности. В каждом желобке такой колонны может поместиться человек.

Сидя на краю дороги, идущей у подножия этого изумительного скалистого побережья, невольно предаешься мечтам и воспоминаниям об этом величайшем народе-художнике. Кажется, что видишь перед собою весь Олимп, Олимп Гомера, Овидия, Вергилия, Олимп очаровательных богов, плотских, страстных, как мы сами, поэтически олицетворявших все порывы нашего сердца, все грезы нашей души, все влечения наших чувств.

На фоне этого античного неба встает весь античный мир. Вас охватывает могучее и необычное душевное волнение, вам хочется преклонить колени перед этим величественным наследием, оставленным нам учителями наших учителей.

Конечно, Сицилия – прежде всего священная земля, ибо если мы в ней находим эти последние обители Юноны, Юпитера, Меркурия и Геркулеса, то здесь же встречаются и самые замечательные христианские церкви в мире. Воспоминание, которое остается у вас о соборах в Чефалу или в Монреале, а также о Дворцовой капелле, об этом чуде из чудес, еще более глубоко и живо, чем воспоминание о памятниках греческой архитектуры.

У подножия холма с храмами Джирдженти начинается изумительная страна, которая представляется подлинным царством сатаны; ведь если, как верили в прежние времена, сатана обитает в обширной подземной области, где в расплавленной сере варятся грешники, то несомненно, что он основал свое таинственное царство именно в Сицилии.

Сицилия дает чуть ли не всю мировую добычу серы. На этом огненном острове серные копи насчитываются тысячами.

Прежде всего, в нескольких километрах от города находится любопытный холм, названный Маккалуба, состоящий из глины и известняка и покрытый небольшими конусами в два – три фута высоту. Они напоминают нарывы, какую-то чудовищную болезнь природы, так как из каждого конуса течет горячая грязь, похожая на отвратительный почвенный гной; порою они выбрасывают на значительную высоту камни и со страшным хрипом выдыхают газы. Кажется, что они ворчат, эти грязные, стыдливые маленькие вулканы, прокаженные ублюдки, прорвавшиеся нарывы.

Оттуда мы отправляемся осматривать серные копи. Мы вступаем в область гор. Это поистине страна опустошения, жалкая, как бы проклятая земля, осужденная самой природой. Перед нами открываются серые, желтые, каменистые, мрачные долины, носящие на себе печать божьего гнева и в то же время словно гордящиеся своим одиночеством и нищетой.

Наконец нам удастся разглядеть какие-то жалкие низенькие постройки. Там находятся копи. В этой местности их, кажется, насчитывают более тысячи.

При входе в ограду одной из копей нам прежде всего бросается в глаза странный холмик, сероватый и дымящийся. Это и есть серный источник, созданный трудом человека.

Вот как добывают серу. Выходя из копей, она черновата, смешана с землей, с известняком и прочими породами. Она представляет собою нечто вроде камня, твердого и ломкого. Как только эти камни доставлены из штольни, их складывают в высокую кучу, которую затем поджигают изнутри. И вот медленный, непрерывный и глубокий пожар в течение целых недель пожирает центр этой искусственной горы, выделяя из нее чистую серу, которая плавится и стекает, как вода, по маленькому каналу.

Полученный таким образом продукт снова обрабатывают в чанах, где он кипит и окончательно очищается.

Копи, из которых добывают серу, похожи на любые другие копи. По узкой лестнице с огромными неровными ступенями вы спускаетесь в штольни, вырытые в сплошном слое серы. Этажи, расположенные одни над другими, соединены широкими отверстиями, подающими воздух в самые глубокие из них. И все же в конце спуска вы задыхаетесь от удушливых серных испарений и страшной, как в бане, жары, от которой бьется сердце и кожа покрывается испариной.

Время от времени вам попадается навстречу партия взбирающихся по крутой лестнице детей, нагруженных корзинами. Надрываясь под тяжестью ноши, несчастные мальчуганы хрипят и задыхаются. Им по десяти – двенадцати лет, и они проделывают это ужасное путешествие по пятнадцати раз в день за плату в одно су за каждый подъем. Они низкорослые, худые, желтые, с огромными блестящими глазами, с худыми лицами и тонкими губами, открывающими зубы, блестящие, как их глаза.

Эта возмутительная эксплуатация детей – одно из самых тягостных зрелищ, какое только можно видеть.

Но на другом берегу острова, или, вернее сказать, в нескольких часах езды от берега, можно наблюдать такое изумительное явление природы, что, увидев его, вы забываете о ядовитых копиях, где убивают детей. Я говорю о Вулькано, этом фантастическом серном цветке, распутившемся среди открытого моря.

Вы отплываете в полночь из Мессины на грязном пароходе, где даже пассажиры первого класса не могут найти скамейки, чтобы присесть на палубе.

Ни малейшего ветерка; движение судна одно нарушает тишину воздуха, словно дремлющего над водой.

Берега Сицилии и берега Калабрии благоухают таким сильным ароматом цветущих апельсиновых деревьев, что весь пролив надушен, как женская спальня. Вскоре город уходит вдаль, мы плывем между Сциллой и Харибдой, горы позади нас опускаются, и над нами появляется приплюснутая снеговая вершина Этны; при свете полной луны гора кажется увенчанной серебром.

Потом вы ненадолго засыпаете – монотонный шум винта убаюкивает – и открываете глаза уже при свете зарождающегося дня.

Вон там, прямо против вас, Липарские острова. Первый слева и последний справа выбрасывают в небо клубы густого белого дыма. Это Вулькано и Стромболи. Между этими двумя огнедышащими горами вы видите Липари, Филикури, Аликури и несколько островков, невысоко подымающихся над водой.

Вскоре пароход останавливается перед маленьким островом и маленьким городком Липари.

Несколько белых домов у подножия высокого зеленого берега. Больше ничего, и ни единой гостиницы: иностранцы не приезжают на этот остров.

Он плодороден, очарователен, окружен восхитительными скалами причудливых форм, густого приглушенного красного цвета. Здесь имеются минеральные воды, которые раньше посещались, но епископ Тодазо велел разрушить построенные тут купальни, дабы оградить свою паству от притока и влияния иностранцев.

Липари заканчивается на севере оригинальной белой горой, которую издали под более холодным небом можно было бы принять за снеговую. Здесь добывают пемзу для всего света.

Я нанимаю лодку, чтобы посетить Вулькано.

Четыре гребца ведут ее вдоль плодородного берега, засаженного виноградниками. Странно видеть отражение красных скал в синем море. Вот и маленький пролив, разделяющий оба острова. Конус Вулькано выступает из волн, как огнедышащая гора, потонувшая в море до самой вершины.

Это дикий островок, наиболее высокая точка которого достигает четырехсот метров над уровнем моря, а поверхность равняется приблизительно двадцати квадратным километрам. Прежде чем добраться до него, приходится объехать другой островок, Вульканелло, поднявшийся внезапно из воды около двухсотого года до рождества Христова и соединенный со старшим своим братом узкою полоскою земли, которая в бурную погоду заливается волнами.

Но вот мы в глубине плоской бухты, прямо против дымящегося кратера. У его подножия стоит дом, в котором живет один англичанин; в эту минуту он, по-видимому, спит, иначе я не имел бы возможности взобраться на вулкан, эксплуатируемый этим промышленником; но он спит, и я прохожу обширным огородом, затем миную небольшой виноградник, принадлежащий англичанину, и наконец целую рощу цветущего испанского дрока. Кажется, что огромный желтый шарф обмотан вокруг конуса горы, вершина которой тоже желтая, ослепительно желтая под яркими лучами солнца. Я подымаюсь по узкой тропинке, которая извивается по пеплу и лаве, поворачивает то вправо, то влево и возвращается назад, крутая, скользкая и твердая. Местами вы видите окаменевший каскад серы, который излился из расселины, подобно водопадам, низвергающимся в швейцарских горах.

Это похоже на ручей из феерии, на застывший свет, на поток солнечных лучей.

Я наконец добираюсь до вершины – до широкой площадки, окружающей большой кратер. Земля дрожит, и передо мной из отверстия величиной с человеческую голову неистово вырывается огромный фонтан пламени и пара, а с краев этого отверстия стекает жидкая сера, позолоченная огнем. Она образует вокруг этого фантастического источника желтое, быстро затвердевающее озеро.

Дальше другие расселины также извергают белый пар, подымающийся тяжелыми клубами в синем воздухе.

Я не без страха ступаю по горячему пеплу и лаве и дохожу до самого края большого кратера. Трудно представить себе зрелище более неожиданное и поражающее.

На дне огромной чаши, называемой «фосса», шириною в пятьсот метров и около двухсот глубиною, штук десять гигантских расселин и широких круглых отверстий изрыгают огонь, дым и серу со страшным шумом кипящих котлов. Спускаюсь по склону этой пропасти и прохожу у самого края разъяренных пастей вулкана. Все желто вокруг меня, у моих ног и надо мною, ослепительно, умопомрачительно желто. Все желто: почва, высокие стены кратера и самое небо. Желтое солнце льет в клочущую бездну пылающий свет, который в соединении с жаром этой серной чаши причиняет боль, словно ожог. И видишь, как кипит текущая желтая жидкость, видишь, как расцветают причудливые кристаллы, как пенятся кислоты ярких и странных оттенков на раскаленных губах очагов.

Англичанин, почивающий в эту минуту у подножия горы, собирает, эксплуатирует и продает эти кислоты, эти жидкости, все то, что изрыгает кратер; ведь все это, по-видимому, стоит денег, и больших денег.

Я медленно возвращаюсь, с трудом переводя дух, запыхавшись, чувствуя удушье от невыносимого дыхания вулкана, и, вскоре достигнув вершины конуса, вижу все Липарские острова, рассыпанные, как бусинки, вдоль берега.

Вон там, прямо напротив, возвышается Стромболи, а позади меня – гигантская Этна, которая словно смотрит издали на своих детей и внуков.

На обратном пути я заметил с лодки скрывавшийся за Липари остров. Лодочник назвал его «Салина». На этом-то острове и выделяют мальвазию.

Мне захотелось выпить на месте бутылку этого знаменитого вина. Оно похоже на сироп из серы. Это подлинное вино вулканов, густое, сладкое, золотистое и настолько насыщенное серою, что вкус ее остается у вас во рту до самого вечера. Вино сатаны.

Грязный парходик, который доставил нас сюда, ввозит меня и обратно. Сперва я вижу Стромболи. Это круглая высокая гора, вершина которой дымится, а подножие погружено в море. Это просто огромный конус, поднимающийся из воды. На склонах горы видишь несколько домов, прилепившихся к ней, как морские раковины к скале. Затем глаза мои обращаются к Сицилии, куда я возвращаюсь, и уже не могут оторваться от Этны, грузно усевшейся на острове, подавляя его своей страшной, чудовищной тяжестью и возвышаясь снежной вершиною над всеми другими сицилийскими горами.

Все эти высокие горы выглядят карликами перед Этной, но и сама она кажется невысокой, настолько она широка и тяжела. Чтобы постигнуть размеры этого грузного великана, надо глядеть на него с открытого моря.

Налево показывается гористое побережье Калабрии, и Мессинский пролив раскрывается, как устье реки. Мы проникаем в него и вскоре входим в гавань.

Город Мессина не представляет ничего интересного. В тот же день я сажусь в поезд и еду в Катанию. Дорога идет по очаровательному берегу, огибает заливы причудливой формы, которые оживлены маленькими белыми деревушками, расположенными в глубине бухт и около песчаных пляжей. А вот и Таормина.

Если бы человек, располагающий всего одним днем для пребывания в Сицилии, спросил меня: «Что мне повидать в Сицилии?», – я бы, не колеблясь, ответил ему: «Таормину».

Это только пейзаж, но такой пейзаж, в котором вы найдете все то, что, словно нарочно, создано на земле, чтобы пленять взор, ум и воображение.

Деревня прилепилась к склону большой горы, словно скатившись с ее верха, но мы только проходим через нее, хотя там есть несколько интересных памятников старины, и направляемся к греческому театру, чтобы оттуда полюбоваться заходом солнца.

Говоря о театре в Сегесте, я сказал, что греки как несравненные мастера декоративного искусства умели выбрать то единственное место, где должен быть построен театр, место, созданное для того, чтобы радовать эстетическое чувство.

Театр Таормины так изумительно расположен, что во всем мире не найдется места, которое могло бы выдержать сравнение с ним. Проникнув в ограду и осмотрев сцену, единственную, которая хорошо сохранилась до наших дней, вы подымаетесь на обрушившиеся и поросшие травой скамьи амфитеатра; некогда они предназначались для публики и могли вместить тридцать пять тысяч зрителей. Затем вы бросаете взгляд вокруг.

Прежде всего вы видите развалины, печальные, гордые, рухнувшие; среди них стоят, все еще совершенно белые, прелестные мраморные колонны, увенчанные капителями; далее, поверх стен, вы видите у своих ног безграничную морскую даль, берег, который тянется до самого горизонта, усеянный огромными скалами, окаймленный золотыми песками, оживленный белыми деревушками; а вправо от вас, превыше всего, господствуя над всем, заполняя своей массой половину небосклона, – дымящая в отдалении, покрытая снегом Этна.

Где в наши дни найдется народ, который сумел бы создать нечто подобное? Где люди, которые для увеселения толпы сумели бы воздвигнуть здания, подобные этому?

А вот те люди, люди древности, обладали душой и глазами, не похожими на наши, и в их крови было нечто такое, что теперь исчезло: любовь к Прекрасному и восхищение им.

Но мы едем в Катанию, откуда я намереваюсь взобраться на вулкан.

Время от времени он показывается между двумя горами, увенчанный неподвижным белым облаком паров, исходящих из кратера.

Повсюду вокруг нас почва коричневая, цвета бронзы. Поезд несется по берегу из лавы.

Все же чудовище еще далеко от нас, пожалуй, на расстоянии тридцати шести или сорока километров. Тут только постигаешь, до чего оно огромно. Его гигантская черная пасть время от времени изрыгала горячий поток горной смолы, который стекал по отлогим или крутым скатам, заполнял долины, погребал деревни, уносил людей, как река, и наконец, докатившись до берега, угасал в море, заставляя его отступать. Эти медленные, вязкие красные волны образовали гряды прибрежных утесов, горы и овраги, затем они затвердели и потемнели, создав вокруг огромного вулкана черную и странную местность, изрытую, бугристую, извилистую, невероятную, начертанную случайностью извержений и страшной фантазией горячей лавы.

Иногда Этна в течение нескольких веков пребывает в покое и только выпускает из кратера в небо тяжелые клубы дыма. Тогда под действием дождей и солнца лава старых потоков распыляется, превращаясь в своего рода золу, в песчаную и черную землю, на которой

растут оливковые, апельсиновые, лимонные и гранатовые деревья, виноградники и хлеба.

Трудно найти местечко более зеленое, более привлекательное, более чарующее, чем Ачи-Реале, расположенный среди апельсиновой и оливковой рощи. Далее между деревьев порою снова мелькает широкая черная полоса, устоявшая перед временем, сохранившая первоначальные формы кипящей лавы, необычайные контуры, подобия сплетенных животных и сведенных рук и ног.

А вот и Катания, обширный и красивый город, весь выстроенный на лаве. Из окон Гранд-отеля мы видим вершину Этны.

Прежде чем на нее взобраться, расскажем в нескольких словах историю этой горы. По верованию древних, Этна была кузницей Вулкана. Пиндар описал извержение 476 года, однако Гомер не упоминает об Этне как об огнедышащей горе. Впрочем, уже в доисторические времена сиканы вынуждены были бежать от нее. Всех ее извержений насчитывается около восьмидесяти.

Самые страшные были в 396, 126 и 122 годах до рождества Христова, далее извержения 1169, 1329, 1537 и особенно сильное в 1669 году, которое выгнало из жилищ свыше двадцати семи тысяч человек и уничтожило очень многих.

Тогда-то и вышли неожиданно из земли две высоких горы – Монти Росси.

Извержение 1693 года, сопровождаемое страшным землетрясением, разрушило около сорока городов и погребло под их развалинами почти сто тысяч человек. Извержение в 1755 году произвело страшные опустошения. Извержения 1792, 1843, 1852, 1865, 1874, 1879 и 1882 годов были столь же сильны и разрушительны. Лава то вырывается из главного кратера, то открывает для себя на склонах горы новые выходы в пятьдесят – шестьдесят метров шириною и, прорвавшись сквозь эти расселины, стекает в равнину.

26 мая 1879 года лава, сперва вытекавшая из кратера, возникшего в 1874 году, вскоре прорвалась из нового конуса высотой в сто семьдесят метров, образовавшегося под ее напором на высоте в две тысячи четыреста пятьдесят метров над уровнем моря. Она быстро сбегала вниз и, перерезав дорогу из Лингваглосса в Рондаццо, остановилась близ речки Алькантара. Пространство, залитое этим потоком лавы, равнялось двадцати двум тысячам восьмистам шестидесяти гектарам, хотя извержение длилось не более десяти дней.

В то время кратер на вершине Этны извергал лишь густые клубы пара, песок и пепел.

Благодаря исключительной любезности г-на Рагуза, члена Альпийского клуба и владельца Гранд-отеля, мы совершили с величайшей легкостью восхождение на вулкан, восхождение, несколько утомительное, но вовсе не опасное.

Сперва мы ехали в экипаже до Николози – через поля и сады, деревья которых выросли на разрыхленной лаве. Время от времени мы пересекали потоки застывшей лавы, сквозь которую прорублен проход для дороги. Почва повсюду черная.

После трех часов пути по отлогому скату мы доезжаем до последней у подножия Этны деревни Николози, расположенной уже на высоте семисот метров и на расстоянии четырнадцати километров от Катании.

Здесь мы оставляем коляску, берем проводника, мулов, одеяла, шерстяные чулки и перчатки и отправляемся дальше.

Уже половина пятого. Жгучее солнце восточных стран изливает свои лучи на эту необыкновенную землю, накаляет ее и жжет.

Животные идут медленно, усталым шагом, поднимая вокруг себя облака пыли. Последний мул, нагруженный багажом и провизией, то и дело останавливается, словно огорчаясь тем, что ему еще раз приходится проделывать этот бесполезный и трудный путь.

Теперь вокруг нас виноградники, растущие на лаве, одни – старые, другие – недавно посаженные. А вот ланда, ланда из лавы, покрытая цветущим дроком, золотая ланда; потом мы пересекаем огромный поток застывшей лавы 1882 года и останавливаемся, пораженные этой грандиозной рекой, черной и неподвижной, этой бурлящей и окаменелой рекой, докатившейся сверху, с дымящейся вершины, такой далекой-далекой, километров за двадцать отсюда. Эта река текла по долинам, огибала остроконечные вершины, пересекала равнины, и вот она теперь у наших ног, внезапно остановившаяся в своем течении, когда иссяк ее огненный источник.

Мы поднимаемся, оставляя слева горы Монти Росси и открывая все время другие горы, множество других гор, которые наши проводники называют сыновьями Этны, выросшими вокруг этого чудовища, обвитого ожерельем вулканов. Их всего около трехсот пятидесяти, этих черных отпрысков старого вулкана; многие из них достигают высоты Везувия.

Теперь мы проезжаем через редкий лес, тоже выросший на лаве. Вдруг поднимается ветер. Сперва это резкие, сильные порывы, за которыми следует момент затишья, потом налетает бешеный, почти непрерывный ураган, который вздымает и мчит густые тучи пыли.

Мы останавливаемся за стеной из лавы, чтобы переждать, и задерживаемся здесь до ночи. Наконец приходится опять пускаться в путь, хотя буря не прекращается.

И вот понемногу нас охватывает холод, тот пронизывающий холод горных вершин, который леденит кровь и парализует тело. Он словно подстерегает нас, притаившись в самом ветре; он колет глаза и жжет кожу ледяными прикосновениями. Закутавшись в одеяла, мы идем, белые, как арабы, надев теплые перчатки, закрыв головы капюшонами и предоставив нашим мулам самим выбирать дорогу; они следуют гуськом, один за другим, спотыкаясь на неровной и темной тропе.

Вот наконец Casa del Bosco, лесная хижина, в которой живут пять-шесть дровосеков. Проводник заявляет, что дальше идти в такую бурю невозможно, и мы просим приюта на ночь. Дровосеки встают, зажигают огонь и уступают нам два теплых соломенных матраца, набитых, видимо, одними блохами. Вся хижина дрожит и колеблется под напором бури, и ветер бешено врывается под плохо скрепленные черепицы кровли.

Не придется нам увидеть восход солнца на вершине горы.

После нескольких часов отдыха без сна мы снова пускаемся в путь. Настал день, и ветер стихает.

Теперь перед нами разворачивается черная волнистая местность; она незаметно подымается к области вечных снегов, ослепительно блистающих у подножия последнего конуса высотой в триста метров.

Хотя солнце восходит на безоблачно синем небе, но от холода, от жестокого холода горных высот, стынут пальцы и лицо. Наши мулы медленно бредут гуськом по извилистой тропе, огибающей все капризные неровности лавы.

Вот первая снежная поляна. Мы делаем крюк, чтобы ее обойти. Но вскоре за первой следует вторая, которую приходится пересекать по прямой линии. Животные в нерешительности нащупывают ногами путь и осторожно продвигаются вперед. Вдруг я чувствую, что проваливаюсь. Передние ноги моего мула пробили корку замерзшего снега, на которую они опирались, и животное погрузилось по самую грудь. Испуганный мул бьется, подымается, снова проваливается всеми четырьмя ногами и опять подымается, чтобы снова упасть.

То же происходит и с другими мулами. Нам приходится спешиться, успокаивать их, помогать им, вытаскивать их. На каждом шагу они погружаются по брюхо в эту белую и холодную пену, куда наши ноги также уходят до колен. Между полосами снега, покрывающего впадины, нам снова попадает лавя, широкие равнины лавы, подобные огромным полям черного бархата, сверкающие под солнцем так же ярко, как самый снег. Это пустынная область, мертвая страна, как бы одетая в траур, сплошь белая и черная, ослепительная, страшная, великолепная, незабываемая.

После четырех часов тяжелого пути мы доходим до Casa Inglese, {Английский дом (итал.)} маленького каменного домика, окруженного льдами, почти погребенного в снегах, у подножия последнего конуса, который возвышается за ним, огромный, отвесный, увенчанный дымом.

Обычно здесь проводят ночь на соломе, чтобы утром взойти на вершину кратера и полюбоваться оттуда восходом солнца. Здесь мы оставляем своих мулов и начинаем взбираться по этой страшной стене из застывшего пепла, подающего под ногами, где не за что ухватиться, не за что удержаться, где сползаешь назад через каждые два шага. Мы подвигаемся вперед, задыхаясь, тяжело переводя дух, втыкая в мягкую почву железное острие палки и поминутно останавливаясь.

При подъеме необходимо втыкать палку между колен, чтобы не поскользнуться и не слететь вниз: окат такой крутой, что на нем невозможно удержаться даже сидя.

Приходится затратить около часа, чтобы взобраться на триста метров. Уже с некоторого времени горло щекочут удушливые серные пары. То справа, то слева мы видим высокие столбы дыма, вырывающиеся из расселин в почве; мы дотрагиваемся руками до больших раскаленных камней. Наконец мы достигаем узкой площадки. Перед нами, как белый занавес, медленно подымается густое облако, исходящее от земли. Мы делаем еще несколько шагов, закрывая нос и рот, чтобы не задохнуться от серы, и вдруг под самыми нашими ногами разверзается огромная страшная пропасть пяти километров в окружности. Сквозь удушливые испарения едва можно разглядеть противоположный край этой чудовищной ямы, достигающей в ширину тысячи пятисот метров, отвесные стены которой уходят в таинственную и страшную область огня.

Зверь сейчас спокоен; он спит в глубине, в самой глубине. Только дым вырывается из этой гигантской трубы, вышиною в три тысячи триста двенадцать метров.

Вокруг нас еще более необычайное зрелище. Всю Сицилию скрывают от наших взоров туманы, которые обрываются на берегу моря, окутывая одну лишь сушу; мы словно стоим в небе, над облаками, среди голубого воздушного океана, на такой высоте, что Средиземное море, простирающееся перед нами, насколько видно глазу, тоже кажется синим небом. Лазурь обнимает нас со всех сторон. Мы же стоим на вершине дивной горы, которая как бы выходит из облаков и тонет в небесах, распростершихся над нашей головой, у наших ног, повсюду.

Но мало-помалу туман, разлитый над островом, подымается вокруг нас и окружает огромный вулкан кольцом облаков, бездной облаков. Теперь и мы, в свою очередь, на дне совершенно белого кратера, откуда уже ничего не видно, кроме голубого неба там, наверху.

Говорят, что в другие дни картина бывает совершенно иная.

Обычно ждут восхода солнца, которое появляется из-за берегов Калабрии. Они далеко отбрасывают тень через море, до самого подножия Этны, темный, необъятный силуэт которой покрывает всю Сицилию своим огромным треугольником, постепенно тающим, по мере того как восходит дневное светило. Тогда открывается панорама диаметром больше четырехсот километров и окружностью в тысячу триста километров, с Италией на севере и с Липарскими островами, оба вулкана которых словно приветствуют своего отца; далеко на юге едва виднеется Мальта. В сицилийских портах корабли похожи на ползущих по морю насекомых.

Александр Дюма-отец дал нам восторженное и очень удачное описание этой картины.

Мы начинаем спускаться по крутому склону кратера больше на спине, чем на ногах, и вскоре вступаем в пояс густых облаков, окружающих вершину горы. Целый час мы пробираемся сквозь туман и наконец выходим из него и видим у наших ног зеленый остров с изрезанными берегами, с заливами, мысами, городами и с обрамляющим его ярко-синим морским простором.

По возвращении в Катанию мы на другой же день отправляемся в Сиракузы.

Путешествие по Сицилии надо завершать посещением этого небольшого, оригинального и очаровательного городка. Он прославился не менее самых крупных городов; царствовавшие в нем тираны были столь же знамениты, как и Нерон; город производит вино, воспетое поэтами, и господствует над заливом, в который впадает небольшая речка Анапо, а на берегах этой речки растет папирус – хранитель

тайн человеческой мысли. В стенах Сиракуз заключена одна из прекраснейших Венер в мире.

Люди пересекают материки, чтобы поклониться какой-либо чудотворной статуе, я же совершил паломничество, чтобы поклониться Венере Сиракузской.

В альбоме одного путешественника я как-то увидел фотографию этой божественной мраморной самки; и я влюбился в нее, как влюбляются в живую женщину. Возможно, что ради нее я и предпринял это путешествие; я говорил и мечтал о ней постоянно, еще не видев ее.

Но мы приехали слишком поздно, чтобы попасть в музей, вверенный попечению профессора Франческо Саверио Кавалари, который, подобно новому Эмпедоклу, спустился в кратер Этны, чтобы выпить там чашку кофе.

Итак, мне оставалось пройти по городу, построенному на островке и отделенному от суши тремя стенами, между которыми проходят три морских пролива. Город, небольшой и привлекательный, стоит на берегу залива, и его сады и бульвары спускаются к самой воде.

Затем мы отправляемся осмотреть Латомии – огромные ямы под открытым небом, которые сперва были каменоломнями, а впоследствии превратились в тюрьмы, где в течение восьми месяцев были заключены афиняне, взятые в плен после поражения Никия; они страдали в этом огромном рву от голода, жажды, невыносимой жары и умирали в грязи, где кишела всякая нечисть.

В одной из них, в Райской Латомии, в глубине пещеры имеется странное отверстие, называемое ухом Дионисия, который, по преданию, подходил к краю этой дыры, чтобы слушать стоны своих жертв. Существуют и другие версии. Некоторые хитроумные ученые полагают, что эта пещера, соединенная с театром, служила подземным залом для представлений, ибо при ее необычайном резонансе малейший звук усиливается до невероятных размеров.

Самая любопытная из Латомий, – несомненно, Латомия капуцинов; это большой широкий сад, разделенный сводами, арками, огромными скалами и окруженный белыми утесами.

Немного подальше можно осмотреть катакомбы, занимающие, как говорят, площадь в двести гектаров, где г-н Кавалари нашел один из самых красивых христианских саркофагов, какие только известны.

Затем мы возвращаемся в нашу скромную гостиницу над морем и долго сидим, погружившись в смутные грезы, глядя на красный и синий глаз корабля, стоящего на якоре.

Наступает утро, и так как о нашем посещении предупреждены, то нам тотчас же открывают двери очаровательного маленького дворца, в котором заключены местные коллекции и произведения искусства.

Войдя в музей, я тотчас увидел ее в глубине одной залы; она была прекрасна, как я ее себе и представлял.

У нее нет головы и недостает руки, но никогда еще формы человеческого тела не казались мне более дивными и более волнующими.

Это не опозитизированная, не идеализированная женщина, не величественная или божественная женщина, как Венера Милосская, – это женщина, какова она в действительности, какую любят, какую желают, какую жаждут обнять.

Она полная, с сильно развитою грудью, с мощными бедрами, с немного тяжеловатыми ногами; это плотская Венера, и когда видишь, как она стоит, ее мечтаешь увидеть лежащей. Отломанная рука прикрывала ее грудь; уцелевшею рукою она приподымает одежду, очаровательным жестом заслоняя сокровеннейшие свои прелести. Все ее тело изваяно и задумано ради этого движения, все линии сосредоточены на нем, вся мысль устремлена на него. Этим простым и естественным жестом, полным стыдливости и бесстыдства, который прячет и указывает, скрывает и обнаруживает, привлекает и отстраняет, как будто и определяется все положение женщины на земле.

И мрамор живет. Хочется его ощупать; кажется, что он подается под рукой, как живое тело.

Бедра в особенности дышат жизнью и красотой. Как разворачивается во всей своей прелести эта волнистая округлая линия женской спины, что идет от затылка до ступни и выказывает все оттенки человеческой грации в контурах плеч, в округленности бедер, в легком изгибе икр, утончающихся к щиколоткам!

Художественное произведение достигает высшей степени совершенства лишь при условии, что оно одновременно и символ и точное выражение реального.

Венера Сиракузская – это женщина и в то же время символ плоти.

Глядя на голову Джоконды, вы чувствуете себя во власти какого-то искушения мистической и расслабляющей любви. Существуют и живые женщины, глаза которых внушают нам эту мечту о несбыточном, таинственном счастье. В них мы ищем чего-то иного, скрытого за тем, что есть на самом деле: нам кажется, будто они носят в себе и выражают какую-то долю этого неуловимого идеала. Мы гонимся за ним, никогда его не достигая, мы ищем его за всеми неожиданными проявлениями красоты, которые, как нам кажется, таят в себе скрытую мысль, мы ищем его в беспредельной глубине взгляда, которая на самом деле только оттенок радужной оболочки, в очаровании улыбки, которое зависит лишь от складки губ и мгновенного блеска эмали зубов, в грации движений, порожденной случайностью и гармонией форм.

Так поэты, бессильно пытающиеся сорвать звезды с неба, всегда мучились жаждою мистической любви. Естественная экзальтация поэтической души, доведенная до крайности художественным возбуждением, заставляет эти избранные натуры создавать себе какую-то туманную любовь, безумно нежную, полную экстаза, никогда не удовлетворенную, чувственную, но не плотскую, настолько утонченную,



что она исчезает от самой ничтожной причины, недосыгаемая и сверхчеловеческую. И эти поэты, пожалуй, единственные мужчины, которые никогда не любили ни одной женщины, настоящей женщины, с плотью и кровью, с ее женскими достоинствами и женскими недостатками, с ограниченным, но очаровательным женским умом, с женскими нервами, со всей волнующей природой самки.

Всякая женщина, вдохновляющая их мечту, является символом существа таинственного, но сказочного, того существа, какое они воспевают, эти певцы иллюзий. Она, эта живая, обожаемая ими женщина, является для них чем-то вроде раскрашенной статуи, вроде иконы, перед которой народ преклоняет колени. Где же это божество? Что оно представляет собой? В какой части неба обитает та незнакомка, которой поклонялись все эти безумцы, от первого мечтателя до последнего? Едва они касаются руки, отвечающей на их пожатие, как душа их уносится на крыльях невидимой грезы, далеко от земной действительности.

Обнимая женщину, они преображают, дополняют, искажают ее своим искусством поэтов. Это не ее губы они целуют: это губы, которые им пригрезились. Не в глубину ее синих или черных глаз погружается их восторженный взор, но во что-то неведомое и непознаваемое. Взор их любовницы – лишь окно, через которое они стремятся увидеть рай идеальной любви.

Но если некоторые женщины, волнующие нас, могут внушить нашей душе эту редкую иллюзию, то другие пробуждают в наших жилах тот бурный порыв любви, который положил начало человеческому роду.

Венера Сиракузская является совершенным выражением этой мощной, здоровой и простой красоты. Говорят, что этот чудный торс, изваянный из паросского мрамора, и есть та самая Венера Каллипига, которую описали Афиней и Лампридий и которую подарил сиракузянам император Гелиогабал.

Она без головы? Ну так что же! Символ от этого стал еще полнее. Это женское тело выражает всю истинную поэзию ласки.

Шопенгауэр сказал, что природа, желая увековечить человеческий род, превратила акт его воспроизведения в ловушку.

Эта мраморная статуя, которую можно видеть в Сиракузах, – подлинная ловушка для людей, которую угадал древний ваятель; это женщина, скрывающая и в то же время показывающая соблазнительную тайну жизни.

Ловушка? Ну так что ж! Она притягивает уста, привлекает руку, предлагает поцелуям осязаемую, подлинную, дивную плоть, белую и упругую плоть, округленную, крепкую, сладостную для объятий.

Она божественна не потому, что выражает какую-либо мысль, но потому только, что прекрасна.

Любуясь ею, вспоминаешь о сиракузском бронзовом овне, одном из лучших экспонатов Палермского музея: он тоже как бы воплощает в себе животное начало мира. Могучий баран лежит, поджав под себя ноги, повернув голову влево. И эта голова животного кажется головою бога, скотского, нечистого и великолепного бога. Лоб у него широкий и кудрявый, глаза далеко расставлены, нос горбатый, длинный, крепкий и гладкий, с поразительным выражением грубой силы. Рога, откиннутые назад, закручиваются и загибаются, выставляя в стороны острые концы под узкими ушами, которые тоже походят на два рога. И взгляд животного – бессмысленный, тревожный и жестокий – пронизывает вас. Чувешь зверя, когда подходишь к этой бронзе.

Кто же эти два дивных художника, которые сумели так ярко воплотить в двух столь различных образах простую красоту живого создания?

Это единственные две статуи, которые, как живые существа, оставили во мне горячее желание увидеть их снова.

В дверях, уходя, я в последний раз бросаю прощальный взгляд на этот мраморный торс, прощальный взгляд, который бросают любимой женщине, покидая ее, и тут же сажусь в лодку, чтобы приветствовать – это долг писателя – папирусы Анапо.

Мы пересекаем залив из конца в конец и видим на плоском голом берегу устье маленькой речки, почти ручья, куда въезжает наша лодка.

Течение очень быстрое, и плыть против него нелегко. Мы пользуемся то веслами, то багром, чтобы скользить по воде, которая быстро бежит между двумя берегами, усеянными массой маленьких ярко-желтых цветочков, между двумя золотыми берегами.

Вот и камыши, которые мы задеваем, проезжая; они сгибаются и выпрямляются снова; дальше из воды встают синие, ярко-синие ирисы, а над ними реют бесчисленные стрекозы, величиною с колибри, трепещут стеклянными перламутровыми крылышками. Далее, на крутых, нависших берегах, растут гигантские лопухи и огромные вьюнки, обвивающие наземные растения и речные камыши.

Под нами, на дне реки, целый лес длинных волнистых водорослей; они движутся, колышутся и словно плывут в колеблющей их воде.

Потом Анапо отделяется от своего притока, древней Цианеи. Мы продолжаем плыть, подталкивая лодку багром. Речка, извиваясь, открывает нашим взорам все новые и новые очаровательные уголки, цветущие и живописные. Наконец появляется остров, заросший странными деревцами. Жидкие трехгранные стебли, от девяти до двенадцати футов вышиною, увенчаны круглыми пучками зеленых нитей, длинных, тонких и гибких, как волосы. Они похожи на головы людей, обращенных в растения и брошенных в воды священного источника языческими богами, некогда населявшими эти места. Это и есть древний папирус.

Крестьяне зовут этот камыш рагуса. { Парик (итал.). }

А там дальше их еще больше, целый лес. Они дрожат, шелестят, склоняются, сталкиваются волосатыми лбами и словно ведут между собой беседу о неведомых делах далекого прошлого.

Не странно ли, что почтенное растение, которое сохранило для нас мысли умерших, которое было стражем человеческого гения, носит на щедром теле пышную гриву, густую и развевающуюся, как у наших поэтов?

Мы возвращаемся в Сиракузы при заходе солнца и видим на рейде только что прибывший почтовый пароход, который сегодня же

вечером увезет нас в Африку.

## ОТ АЛЖИРА ДО ТУНИСА

Эти фигуры, задрапированные в какие-то монашеские одеяния, эти головы, покрытые тюрбанами, концы которых развеваются сзади, эти строгие черты лица, эти неподвижные взгляды, встречаешь ли их здесь, на набережных Алжира, или в горах Сахеля, или же среди песков Сахары, – все они как будто принадлежат монахам одного и того же сурового ордена, рассеянным по целой половине земного шара.

Самая походка их та же, что у священников; жесты те же, что у апостолов-проповедников, манера держаться та же, что у мистиков, полных презрения ко всему земному.

И правда, мы здесь среди людей, у которых религиозная идея господствует над всем, все затмевает, диктует поступки, связывает совесть, формует сердца, управляет мыслью, первенствует над всеми интересами, над всеми заботами, над всеми волнениями.

Религия – вот великая вдохновительница их поступков, душ, достоинств и недостатков. Благодаря религии и ради религии они добры, храбры, нежны и верны, потому что сами по себе они как будто ничто, как будто не обладают ни единым качеством, которое не было бы им внушено или предписано верой. Мы не в состоянии познать непосредственную или первобытную природу араба: она, так сказать, пересоздана его верой, кораном, учением Магомета. Никогда еще никакая другая религия не внедрялась до такой степени в человеческие существа.

Пойдем же посмотрим, как они молятся в своей мечети, в белой мечети, которая виднеется там, в конце набережной Алжира.

В первом дворе под аркадой, опирающейся на зеленые, голубые и красные колонки, мужчины, сидя на корточках или прямо на земле, беседуют вполголоса с величавым спокойствием людей Востока. Против входа, в небольшой квадратной комнате, похожей на часовню, кади вершат правосудие. Истцы ждут, сидя на скамейках; один араб говорит, стоя на коленях, а судья, закутанный в одежды, почти скрытый их бесчисленными складками и огромным тяжелым тюрбаном, из-под которого видна лишь часть его лица, слушает жалобщика, устремив на него суровый спокойный взгляд. Стена, в которой проделано решетчатое окно, отделяет эту комнату от помещения, где женщины, создания менее благородные, чем мужчины, и не имеющие права предстать перед лицом кади, ждут очереди, чтобы изложить свои жалобы через это окошко исповедальни.

Солнце изливается огненным потоком на белоснежные стены этих маленьких зданий, подобных гробницам марабутов, и на двор, где старая арабская женщина кормит рыбой массу полосатых кошек; оно поблескивает и в комнате на бурнусах, на сухих коричневых ногах, на бесстрастных лицах. Еще дальше – школа около фонтана, где под деревом течет вода. Все объединено здесь, в этой тихой, мирной ограде: религия, правосудие, просвещение.

Я вхожу в мечеть, сняв сначала обувь, и иду по коврам, среди светлых колонн, правильные ряды которых наполняют безмолвный, огромный и низкий храм. Они очень широки, эти четырехгранные столбы, и одною стороной обращены к Мекке, дабы правоверный, встав перед одной из них, ничего не видел, ничем не отвлекался и целиком погрузился в молитву.

И вот одни из молящихся бьют земные поклоны, другие стоя бормочут тексты из корана, приняв позу, полагающуюся по обряду; некоторые, уже выполнив свой религиозный долг, беседуют, сидя на полу, вдоль стен, ибо мечеть не только место молитвы, но и место отдохновения, где остаются подолгу, где проводят целые дни.

Все просто, все голо, все бело, все тихо, все мирно в этих убежищах веры; они не похожи на наши декоративные церкви, в которых так беспокойно, когда они полны народа, из-за шума службы, движения причта, пышности церемоний, священнных песнопений, и которые до того печальны, до того горестны, когда они пусты, что сжимается сердце, и кажется, что стоишь в комнате умирающего, в холодном каменном склепе, где все еще длится агония распятого.

То и дело входят арабы, бедные и богатые, портовый грузчик и бывший вождь – знатный араб в шелковистом бурнусе ослепительной белизны. Все они босы, все повторяют одни и те же жесты, молятся одному и тому же богу с той же горячей простой верой, не позирруя и не отвлекаясь. Сначала они стоят прямо, подняв лицо, держа раскрытые ладони на уровне плеч, в позе мольбы. Затем руки падают вдоль тела, голова склоняется: они стоят перед владыкою мира в позе смирения. После этого руки соединяются на животе, как будто они связаны. Это стоят пленники, отдавшие во власть владыки. Наконец они несколько раз подряд очень быстро и бесшумно кладут земные поклоны. Они садятся на пятки, положив ладони на бедра, и наклоняются вперед, пока не коснутся лбом пола.

Эта молитва, всегда одна и та же, начинающаяся с чтения первых стихов корана, должна пять раз в день повторяться правоверными, которые перед входом в мечеть омывают ноги, руки и лицо.

В безмолвном храме не слышно ничего, кроме журчания воды, текущей во втором внутреннем дворе, из которого проникает свет в мечеть. Тень смоковницы, растущей у фонтана для омовений, бросает зеленые блики на ближние циновки.

Мусульманские женщины могут приходить в мечеть наравне с мужчинами, но почти никогда не приходят. Бог слишком далек, слишком высок, слишком важен для них. Разве посмеешь рассказать ему о своих заботах, поверить все свои горести, попросить у него небольшой милости, небольшого утешения, небольшой поддержки при мелких столкновениях с семейством, с мужем, с детьми – всего, в чем нуждается сердце женщины? Между ним, таким великим, и ими, такими ничтожными, нужен более скромный посредник.

Этот посредник – марабут. Разве и у нас, в католической религии, нет святых и девы Марии, естественных ходатаев перед богом за робких и смиренных?

И потому молящуюся арабскую женщину мы встретим у гробницы святого, в маленькой часовне, где он похоронен.

Пойдем же туда посмотреть на нее.

Зауйя Абд-эр-Рахман-эль-Ткальби самая интересная в Алжире. «Зауйей» называется маленькая мечеть, сочетающаяся с «куббой» (гробницей марабута) и включающая иногда еще школу, а также высший курс обучения для образованных мусульман.

Чтобы дойти до зауйи Абд-эр-Рахмана, надо пересечь весь арабский город. Невообразим этот подъем по целому лабиринту переулков, перепутанных и извилистых, идущих между глухими стенами мавританских домов. Наверху стены почти соприкасаются, и небо, видимое в просветах между плоскими крышами, кажется голубой причудливо фантастической арабеской. Длинный извилистый сводчатый проход, крутой, как горная тропа, порою ведет, кажется, прямо в небесную лазурь, яркое и залитое солнцем пятно которой внезапно поражает взор за поворотом стены, там, высоко, где кончаются ступени улочки.

Вдоль этих узких проходов на порогах домов расположились на корточках арабы и дремлют в своих лохмотьях; другие наполняют мавританские кофейни и там, неподвижно сидя на круглых скамейках или на полу, пьют кофе из маленьких фаянсовых чашек, с важностью держа их пальцами. В эти узкие улицы, по которым приходится карабкаться, солнечный свет неожиданно падает тонким лучом или широкими пятнами на каждом повороте и перекрестке и выписывает на стенах неожиданные узоры, ослепительно яркие, словно покрытые лаком. В полукрытые двери видны внутренние дворы, откуда тянет свежестью. Повсюду имеется четырехугольный колодец, который окружен колоннадой, поддерживающей галерею. Нежная и дикая музыка доносится порой из этих домов, откуда часто выходят по две женщины. Из-под вуали, скрывающей лица, они бросают вам взгляд черных печальных глаз, взгляд пленниц, и проходят мимо.

Их головы покрыты куском ткани, стянутым вокруг головы, как на изображениях богоматери, тело закутано в хаик, ноги спрятаны в широких шароварах, полотняных или коленкорových, достигающих до щиколотки; женщины идут медленной, довольно неловкой, неуверенной походкой; глядя на них, стараешься угадать черты лица под вуалью, которая немного обрисовывает их, прилегая к его выпуклостям. Синеватые дуги бровей, соединенные полоской сурьмы, продолжены до самых висков.

Вдруг меня окликают. Я оборачиваюсь и в открытую дверь вижу внутри дома, на стенах, большие непристойные картины, какие встречаешь в Помпее. Вольность нравов, пышный расцвет на улицах бесчисленной проституции, веселой и наивно-дерзкой, сразу обнаруживают глубокую разницу, существующую между европейской стыдливостью и восточной бессознательностью.

Не надо забывать, что здесь всего несколько лет назад запретили уличные представления Карагусса (нечто вроде чудовищно непристойного Гиньоля), на которого глядели большие черные невинные и развращенные глаза детей, смеявшихся и аплодировавших его невероятным, мерзким, непередаваемым подвигам.

По всему верхнему арабскому городу рядом с галантерейными, бакалейными и фруктовыми лавками неподкупных мозабитов, этих магометанских пуритан, которых оскверняет каждое прикосновение других людей и которые по возвращении на родину подвергнутся долгим очистительным обрядам, широко распахнуты двери лавок, торгующих человеческим телом, куда зазывают прохожих на всевозможных языках. Мозабит, восседающий в своей маленькой лавочке, посреди тщательно разложенных товаров, как будто ничего не видит, не знает, не понимает.

Справа от его лавки испанские женщины воркуют, как голубки; слева арабские женщины мяукают, как кошки. Среди них, среди этих бесстыдно оголенных тел, размалеванных для привлечения клиентов в оба эти притона, продавец фруктов сидит, подобно загнипнотизированному и погруженному в грезы факиру.

Я сворачиваю вправо, в маленький проулок, который, кажется, обрывается прямо в море, раскинувшееся вдали за мысом Сент-Эжен, и вижу в конце этого туннеля, в нескольких метрах под собой, очаровательнейшую мечеть-игрушку, или, вернее, изящную, крошечную зауйю, маленькие постройки которой и маленькие квадратные, круглые и остроконечные гробницы рассыпаны вдоль лестницы, зигзагами спускающейся с террасы на террасу.

Вход в нее скрыт за стеной, как будто сделанной из серебристого снега и окаймленной зелеными фаянсовыми изразцами; в стене пробиты равномерно расположенные отверстия, сквозь которые виден Алжирский рейд.

Я вхожу. На каждой ступеньке сидят нищие, старики, дети, женщины и, протягивая руку, просят милостыню на арабском языке. Направо, в маленьком здании, также украшенном фаянсовыми плитками, находится первая усыпальница, и в открытые двери можно видеть правоверных, сидящих перед гробницей. Ниже блестит круглый купол куббы марабута Абд-эр-Рахмана рядом с тонким четырехгранным минаретом, с которого призывают на молитву.

Вдоль всего спуска – другие гробницы, более скромные, и наконец гробница знаменитого Ахмеда, бея Константины, который науськивал собак рвать зубами животы французских пленных.

С последней террасы, у входа в гробницу марабута, открывается чудный вид. Вдали собор Африканской богоматери возвышается над мысом Сент-Эжен и надо всем морем, простирающимся до самого горизонта, где оно сливается с небом. Ближе, справа, арабский город подымается до самой зауйи, и его белые известковые домики взбираются еще выше по уступам горы. Вокруг меня гробницы, кипарис, смоковница и те мавританские орнаменты, что обрамляют и увенчивают зубцами все священные стены.

Сняв обувь, я вхожу в куббу. Передо мной в тесной комнатке сидит на пятках мусульманский ученый и читает рукопись, держа ее обеими руками на уровне глаз. Вокруг него на циновках разложены книги и пергаментные свитки. Он не поворачивает головы.

Дальше я слышу какой-то шелест и шепот. При моем появлении все женщины, сидящие вокруг гробницы, поспешно закрывают лица. Они похожи на большие клубки белой ткани с блестящими глазами. Посреди них, в этой пене из фланели, шелка, шерсти и полотна, спят или двигаются дети, одетые в красное, синее, зеленое. Это наивно и очаровательно. Женщины – у себя, у своего святого, жилище которого они украсили, ибо бог слишком далек для их ограниченного ума, слишком велик для их смирения.

Они обращаются лицом не к Мекке, а к телу марабута и отдают себя под его непосредственное покровительство, которое и тут, как

всегда, является покровительством мужчины. Их женские глаза, их кроткие и печальные глаза, подчеркнутые двумя белыми повязками, не умеют видеть бесплотное, им понятно только живое создание – мужчина, который при жизни кормит их, защищает и поддерживает; мужчина после своей смерти замолвит за них слово и перед богом. И вот они здесь, у самой гробницы, разукрашенной, размалеванной и немного напоминающей бретонское брачное ложе, но ярко расписанное, покрытое материями, шелками, флагами, принесенными подарками.

Они шепчутся, разговаривают между собою и рассказывают марабуту о своих делах, о заботах, о ссорах, об обидах, понесенных от мужа. Они собрались интимным кружком, чтобы запросто поболтать у святыни.

Вся часовня наполнена их странными дарами: стенными часами разнообразной величины, которые тикают, отмечая секунды, и бьют в положенное время; принесенными по обету хоругвями, всевозможными люстрами, медными и хрустальными.

Этих люстр навешано так много, что за ними не видно потолка. Они висят одна подле другой независимо от размера, как в ламповом магазине. Стены украшены изящными фаянсовыми изразцами прелестного рисунка, в которых всегда преобладают зеленый и красный цвета. Пол застлан коврами, а свет проникает через купол, разделенный на тройные стрельчатые окна, из которых среднее выше других.

Это уже не та суровая, голая мечеть, где бог пребывает в одиночестве, это будуар, украшенный для молитвы по детскому вкусу дикарок. Сюда часто приходят волокиты, чтобы условиться с ними о свидании и обменяться по секрету несколькими словами. Европейцы, говорящие по-арабски, порою завязывают здесь знакомства с этими закутанными медлительными созданиями, у которых видны только глаза.

Когда прихожане-мужчины посещают, в свою очередь, марабута, чтобы помолиться у его гробницы, они не проявляют такого исключительного внимания к святому обитателю этого места. Поклонившись гробнице, они обращаются лицом к Мекке и поклоняются богу, ибо нет бога, кроме бога, как они повторяют во всех своих молитвах.

## ТУНИС

Прежде чем достигнуть Туниса, железная дорога пересекает великолепную гористую местность, поросшую лесами. Описав несколько огромных петель и поднявшись на высоту в семьсот восемьдесят метров, откуда открывается обширный, великолепный пейзаж, она проникает на территорию Туниса через Хрумир.

Тут начинается чередование гор и пустынных долин, в которых некогда стояли римские города. Вот сначала развалины Тагасты, родины блаженного Августина, отец которого был декурионом.

Дальше идет Тубурсикум Нумидарум, руины которого покрыты круглыми зеленеющими холмами. Еще дальше Мадаура, где в конце царствования Траяна родился Апулей. Не перечить всех мертвых городов, мимо которых проезжаешь на пути в Тунис.

Вдруг, после долгих часов пути, на низкой равнине возникают высокие арки полуразрушенного, местами уничтоженного акведука, который некогда тянулся от одной горы до другой. Это Карфагенский акведук, о котором говорит Флобер в Саламбо. Потом дорога проходит мимо красивого селения, следует берегом сверкающего озера, и наконец показываются стены Туниса.

Вот мы и в городе.

Чтобы охватить взглядом его общий вид, надо подняться на ближний холм. Арабы сравнивают Тунис с разостланным бурнусом; сравнение удачно. Город простирается на равнине, слегка волнистой из-за неровностей почвы, так что местами над ней выступают края большого пятна, образуемого белесыми домами, над которым высятся купола мечетей и башни минаретов. Едва различаешь, едва догадываешься, что это дома, до такой степени это белое пятно кажется сплошным, непрерывным, разлившимся. Три озера вокруг него сверкают под ярким восточным солнцем, как три огромных стальных щита. На севере, вдали, – озеро Себкра-эль-Буан; на западе – Себкра-Сельджум, на юге, за городом, – большое озеро Бахира, или Тунисское; дальше к северу – море, глубокий залив, тоже похожий на озеро в обрамлении далеких гор.

И повсюду вокруг этого плоского города тянутся топкие болота, полные разлагающихся нечистот, – невообразимое кольцо гниющих клоак, голые низменные поля, где извиваются наподобие змеек узкие блестящие ручьи. Это сточные воды Туниса, разливающиеся под синим небом. Они текут непрестанно, заражая воздух, и катят свой медленный зловонный поток по землям, пропитанным гнилью, к озеру, которое они заполнили и насытили на всем его протяжении, ибо опущенный в него лот погружается в тину почти на восемнадцать метров; приходится постоянно прочищать канал в этой топи, чтобы через нее могли пройти небольшие суда.

И все же в яркий, солнечный день зрелище города, лежащего среди этих озер, на этой обширной равнине, замыкаемой в отдалении горами, самая высокая из которых, Загуан, зимою почти всегда увенчана облаками, производит, пожалуй, самое захватывающее, самое волнующее впечатление на всем побережье африканского материка.

Спустимся с нашего холма и войдем в город. Он состоит из трех совершенно отдельных частей: французской, арабской и еврейской.

На самом деле Тунис – не французский и не арабский город, это город еврейский. Это одно из редких мест на земном шаре, где еврей чувствует себя дома, словно на родине, где он почти явный хозяин, где он держится со спокойной уверенностью, хотя еще немного боязливой.

Особенно интересно видеть и наблюдать его здесь, в этом лабиринте узеньких улочек, где движется, суетится и кишит самое яркое, пестрое, расфранченное, переливающееся всеми цветами радуги, драпирующееся в шелка красочное население, какое только можно встретить на всем этом восточном побережье.

Где мы? В стране арабов или в ослепительной столице Арлекина, наделенного высоким художественным чутьем, друга живописцев,

неподражаемого колориста Арлекина, который забавы ради народ с умопомрачительной фантастичностью? Этот божественный костюмер побывал, наверно, и в Лондоне, и в Париже, и в Петербурге, но, вернувшись оттуда, полный презрения к северным странам, расцвел своих подданных с безошибочным вкусом и с беспредельным воображением. Он не только пожелал придать их одеждам изящный, оригинальный и веселый покрой, но и применил для раскраски тканей все оттенки, созданные, составленные, придуманные самими утонченными акварелистами.

Одним лишь евреям он предоставил резкие тона, хотя и запретил им слишком грубые сочетания цветов и с благоразумной смелостью ограничил яркость костюмов. Что же касается мавров, его любимцев, флегматических торговцев, восседающих в своих суках, или проворных юношей, или медленно шествующих по маленьким улочкам тучных горожан, он разodel их, забавы ради, в такие разнообразные ткани, что глаз, глядя на них, пьянеет, как певчий дрозд от винограда. Для них, для этих славных восточных людей, для этих левантинцев – метисов, происшедших от турок и арабов, – он собрал целую коллекцию оттенков, таких тонких, нежных, спокойных, мягких, бледных, блеклых и гармоничных, что прогулка среди них – истинное наслаждение для глаз.

Вот бурнусы из кашемира, переливчатые, как потоки света, и тут же лохмотья, великолепные в своей нищете, рядом с шелковыми геббами (длинными, спускающимися до колен туниками) и мягкими жилетами, облегающими тело под курткой, обшитой по бортам мелкими пуговками.

И на этих геббах, куртках, жилетах, хаиках играют, смешиваются и наслаиваются друг на друга самые нежные расцветки. Все это розовое, лазоревое, сиреневое, бледно-зеленое, пастельно-голубое, бледно-коричневое, палевое, оранжевое, бледно-лиловое, красноватое, аспидно-серое.

Это волшебная процессия цветов от самых блеклых оттенков до самых ослепительных, но и последние тонут в таком потоке сдержанных тонов, что ничто не кажется резким, нет ничего кричащего, ничто не бьет в глаза на улицах – в этих светлых коридорах, бесконечно извивающихся, стиснутых между низкими, выбеленными известью домами.

Эти узкие проходы то и дело наводняются какими-то оплывшими существами, бедра и плечи которых покачиваются, еле протискиваясь в этих проходах. Существа эти носят остроконечный головной убор, часто посеребренный или позолоченный, словно колпак волшебницы; сзади с него спадает шарф. На их чудовищных телах – колыхающихся и вздутых горах мяса – надеты просторные блузы ярких цветов. Бесформенные ляжки заключены в узкие, обтягивающие белые кальсоны. На икрах и щиколотках, налитых жиром, вздуваются чулки или – если одежда праздничная – нечто вроде чехлов из золотой или серебряной парчи. Они тяжело выступают, волоча туфли без задников, так что пятки шлепают по мостовой. Эти странные, расплывшиеся создания – еврейки, прекрасные еврейки!

Как только юные дочери Израиля приближаются к брачному возрасту, к тому возрасту, когда за ними начинают ухаживать богатые мужчины, они мечтают о том, чтобы растолстеть: ведь чем женщина грузнее, тем больше чести мужу и тем больше у нее шансов выбрать его по своему вкусу.

В четырнадцать, в пятнадцать лет эти девочки стройны и легки, дивно красивы, изящны и грациозны. Их бледный, немного болезненный, прозрачно-нежный цвет лица, их тонкие черты, столь мягкие черты древней и усталой расы, кровь которой никогда не освежалась, их темные глаза под ясным лбом, придавленным черной, тяжелой, густой массой всклокоченных волос, их гибкие движения, когда они перебегают от одной двери к другой, – все это наполняет еврейский квартал Туниса видениями соблазнительных маленьких Саломей.

Но вот они начинают думать о супруге. Тут наступает пора того невообразимого объедания, которое скоро превращает их в чудовища. Соблюдая неподвижность после ежедневного приема по утрам пилюль из трав, возбуждающих аппетит и раздражающих желудок, они целые дни едят тяжелые, жирные печения, от которых невероятно толстеют. Груды вздуваются, животы вспухают, зады округляются, бедра ширятся, покрываясь жиром; кисти рук и щиколотки исчезают в тяжелых складках мяса. И любители собираются, осматривают их, сравнивают, восхищаются ими, как на выставке откормленного скота. До чего же они красивы, соблазнительны, очаровательны, эти необъятные невесты!

Тогда-то и можно встретить эти чудовищные фигуры, увенчанные острым конусом, называемым куфия, с которого свисает на спину бежир, одетые в развевающиеся широкие кофты из простого полотна или яркого шелка, в белых или вышитых, узких, как трико, панталонах, обутые в шлепанцы, называемые саба, – существа, невыразимо странные, но лица которых на этом гиппопотамовом теле часто еще хранят былую красоту.

У себя в домах, куда нетрудно проникнуть в субботу, в священный день, в день праздника и визитов, девушки принимают подруг в выбеленных комнатах, где они сидят одна подле другой, как символические идолы, покрытые шелками и блестящей мишурой, богини из плоти и металла с золотыми гетрами на ногах и золотым рогом на голове!

Все богатство Туниса в их руках, или вернее, в руках их мужей, всегда улыбающихся, всегда приветливых и готовых к услугам. Вероятно, через несколько лет они превратятся в европейских дам, будут одеваться по французской моде и, подчиняясь моде, начнут поститься, чтобы похудеть. Тем лучше будет для них и тем хуже для нас, зрителей.

Самая интересная часть арабского города – это квартал суков: длинные улицы под сводами или дощатыми крышами, сквозь щели которых солнце проскальзывает огненными клинками, как будто рассекающими прохожих и купцов. Это базары, извилистые и переkreщивающиеся галереи, где торговцы, разбившись по цехам, сидя прямо на земле или на корточках посреди своих товаров в маленьких крытых лавочках, энергично зазывают покупателей или же хранят неподвижность в нишах из ковров, из материй всевозможных цветов, из выделанных кож, уздечек, седел, шитой золотом сбруи или среди нанизанных, как четки, желтых и красных туфель.

У каждого цеха своя улица, и можно видеть, как во всю длину галереи, отделенные друг от друга простой перегородкой, работают ремесленники одного и того же цеха, делая одни и те же жесты. Оживление, красочность, веселье этих восточных рынков не поддаются описанию, потому что тут надо было бы одновременно передать и ослепительный свет, и шум, и движение.

Один из суков настолько своеобразен, что оставляет о себе воспоминание, необычайное и неотвязное, как сон. Это сук духов.

В одинаковых узких отделениях, до того узких, что они напоминают ячейки улья, и расположенных рядами по обе стороны темноватой галереи, люди с прозрачным цветом лица, почти все молодые, в светлых одеждах, восседают, как будды, храня изумительную неподвижность, в рамке из подвешенных длинных восковых свечей, образующих вокруг их голов и плеч мистический и правильный узор.

Верхние свечи, более короткие, окружают тюрбан; другие, более длинные, доходят до плеч; самые большие спускаются вдоль рук. Симметричная форма этого странного убранства несколько меняется от одной лавки к другой. Продавцы, бледные, неподвижные, безмолвные, сами кажутся восковыми фигурами в восковой часовне. Если зайдет покупатель, – вокруг их колен, вокруг ног, под рукой находятся всевозможные духи, заключенные во всевозможные крошечные коробочки, крошечные флакончики, крошечные мешочки.

В воздухе, из одного конца сука в другой, носится слегка дурманящий запах курений и духов.

Некоторые из этих экстрактов продаются каплями по очень дорогой цене. Для отсчитывания их торговец употребляет кусочек хлопка, который он вынимает из уха и затем снова водворяет туда же.

С наступлением вечера весь квартал суков запирается тяжелыми воротами у входа в галерею; подобно некоему драгоценному городу, он заключен в другом городе.

Когда же вы прогуливаетесь по новым улицам, упирающимся в болото, в какой-нибудь сток нечистот, вы вдруг слышите странное ритмическое пение в такт глухим ударам, которые похожи на отдаленные пушечные выстрелы и прерываются на несколько мгновений, чтобы возобновиться снова. Вы озираетесь и наконец на уровне земли замечаете головы десятка негров, обмотанные фулярами, платками, тюрбанами, лохмотьями. Эти головы поют по-арабски какой-то припев, в то время как руки, вооруженные бабами для трамбования почвы, мерно ударяют ими на дне канавы по слою щебня и известкового раствора; так закладывают прочный фундамент для какого-нибудь нового дома, строящегося на этой жирной, вязкой почве.

На краю ямы старый негр, начальник этой партии трамбовщиков, отбивает такт, смеясь, как обезьяна; смеются и все другие, продолжая распевать свою странную песню и скандируя ее энергичными ударами. Они ударяют с воодушевлением и лукаво смеются, поглядывая на останавливающихся прохожих; прохожим тоже весело: арабам – потому что они понимают слова, другим – потому что зрелище забавное; но уж, конечно, никто так не веселится, как сами негры; ведь старик кричит:

– Ну-ка, хватим!

И все, скаля зубы и ударяя три раза трамбовкой, подхватывают:

– По башкам собачьих руми!

Старый негр снова кричит с таким жестом, как будто он кого-то раздавил:

– Ну-ка, хватим!

И все хором:

– По башкам собачьих ютов!

Вот как строится европейский город в новом квартале Туниса!

Ах, этот новый квартал! Когда вспомнишь, что он весь выстроен на постепенно затвердевшем иле, на какой-то невообразимой почве, создавшейся из всех нечистот и отходов, извергаемых городом, невольно спрашиваешь себя, каким образом население его не гибнет от всевозможных болезней, лихорадок и эпидемий. А глядя на озеро, которое постепенно завоевывают и переполняют те же стоки городских нечистот, на озеро – эту вонючую помойную яму, из которой поднимаются такие миазмы, что в жаркие ночи вас мутит от отвращения, не понимаешь даже, как еще существует старый город, расположившийся у этой клоаки.

Вспоминаешь о больных лихорадкой, которые встречаются в некоторых деревнях Сицилии, Корсики или Италии, об уродливых, чудовищных людях, с раздутыми животами, трясущихся, отравленных водою чистых ручьев и красивых прозрачных озер, и приходишь к убеждению, что Тунис должен быть очагом заразных болезней.

Но нет! Тунис – здоровый город, очень здоровый! Зловонный воздух, которым вы в нем дышите, живет и успокаивает вас. Это самый умиротворяющий, самый приятный для возбужденных нервов воздух, каким мне когда-либо доводилось дышать. После департамента Ланд, наиболее здорового района Франции, Тунис является местом, где менее всего распространены обычные в наших странах заболевания.

Это кажется невероятным, однако это так. О вы, современные врачи, смешные оракулы, профессора гигиены, посылающие ваших больных дышать чистым воздухом горных вершин или животворящим воздухом зеленых лесов, приезжайте сюда, взгляните на эту навозную жижу, омывающую Тунис, посмотрите затем на эту землю, которую не защищает и не освежает своєю тенью «и одно деревце»; проживите год в этой стране, на этой низменной равнине, летом иссушенной солнцем, зимой превращенной в болото дождями, а потом зайдите в здешние больницы. Они пусты!

Справьтесь со статистикой, и вы узнаете, что здесь гораздо чаще, чем от ваших болезней, умирают от того, что называют – пожалуй, ошибочно – мирной естественной смертью. Тогда вы, может быть, спросите себя, не современная ли наука отравляет нас своим прогрессом; не являются ли канализационные трубы в наших погребах и сточные ямы, находящиеся по соседству с нашим вином и водою, домашними рассадниками смерти, очагами и распространителями эпидемий, более действенными, чем ручейки нечистот, текущие

под солнечными лучами вокруг Туниса; вы убедитесь, что чистый горный воздух менее продуктивен, чем бациллоносные испарения здешних городских нечистот, и что сырость лесов опаснее для здоровья и чаще порождает лихорадки, чем сырость гниющих болот, вокруг которых на сто лье нет ни единой рощицы.

Неоспоримо здоровый климат Туниса действительно изумляет и может объясниться только абсолютной чистотой воды, которую пьют в этом городе, а это полностью подтверждают наиболее современные теории о способе распространения смертоносных зародышей.

В самом деле, вода с горы Загуана, каптированная под землей на расстоянии восьмидесяти километров от города, доходит до домов без малейшего соприкосновения с наружным воздухом и, следовательно, не получив никаких зародышей заразных болезней.

Я был так удивлен, когда мне говорили о здешнем здоровом климате, что пожелал посетить больницу, и врач-мавр, заведующий главной больницей Туниса, разрешил мне осмотреть ее.

Как только передо мною открылись ворота, ведущие в обширный арабский двор, над которым, под защитой плоской крыши, возвышается галерея с колоннадой, мое удивление и волнение так возросли, что я позабыл о цели своего прихода.

Вокруг меня по бокам четырехугольного двора, в узких камерах за решетками, как в тюрьме, были заключены люди; при нашем появлении они поднялись и прижали к железным решеткам изможденные бледные лица. Затем один из них просунул руку и, помахав ею, прокричал несколько ругательств. Тогда и остальные принялись вдруг скакать, словно звери в клетках, и орать во все горло, а на галерее второго этажа длиннородый араб, с тяжелым тюрбаном на голове и медными ожерельями вокруг шеи, небрежно свесил над перилами покрытую браслетами руку, пальцы которой были унизаны кольцами, и, улыбаясь, слушал весь этот гам. Это был сумасшедший, свободный и спокойный, который воображал себя царем царей и мирно владычествовал над буйными помешанными, запертыми внизу.

Мне захотелось обойти и оглядеть этих страшных безумцев, которые невольно привлекают внимание своими восточными одеяниями, а благодаря своей оригинальности более интересны и, быть может, менее волнуют, чем наши бедные европейские сумасшедшие.

Мне разрешили войти в камеру первого из них. Подобно большинству своих товарищей, он был доведен до такого состояния гашишем, или, вернее, кифом. Он еще очень молод, страшно худ, страшно бледен и разговаривает со мной, глядя на меня огромными пристальными мутными глазами. Что он говорит? Он просит меня подарить ему трубку для курения и рассказывает, что его ждет отец.

Время от времени он приподнимается, причем из-под его геббы и бурнуса выглядывают ноги, тощие, как у паука, а негр, который его сторожит, гигант, с лоснящейся кожей и блестящими белками глаз, всякий раз отбрасывает его на циновку легким толчком в плечо, и безумец слишком слаб, чтобы устоять при этом на ногах.

Его сосед, желтое гримасничающее чудовище, испанец из Рибейры, сидит, скорчившись, вцепившись в железные прутья решетки, и также просит трубку или кифа с непрерывным смехом, похожим на угрозу.

В следующей камере двое: еще один курильщик конопли – крупный араб мускулистого сложения, встречающий нас бешеной жестикуляцией, тогда как его сосед неподвижно сидит на пятках, устремив на нас прозрачные глаза дикой кошки. Это человек редкой красоты; черная борода, короткая и курчавая, придает прекрасному цвету его лица мертвенно-бледный оттенок. Нос тонкий, лицо продолговатое, изящное, полное благородства. Это мозабит, сошедший с ума после того, как он нашел мертвым своего юношу-сына, которого он разыскивал два дня.

А вот старик, который смеется и, приплясывая, как медведь, кричит нам:

– Сумасшедшие, сумасшедшие, все мы сумасшедшие: я, ты, доктор, сторож, бей – все, все сумасшедшие!

Он выкрикивает это по-арабски, но мы его понимаем, до того страшна его мимика, до того убедителен протянутый к нам палец. Старик указывает на каждого из нас поочередно и смеется; ведь этот сумасшедший убежден, что сумасшедшие – мы, и он повторяет:

– Да, да, ты, ты, ты сумасшедший!

И кажется, что в вашу душу проникает дуновение безумия, заразная и страшная эманация, исходящая от этого злобного бесноватого.

И вы уходите, подымая взор к большому синему квадрату неба, простирающемуся над этой ямой проклятых. Тут снова показывается по-прежнему улыбающийся, спокойный и прекрасный, как царь-волхв, повелитель всех этих безумцев, длиннородый араб; он перегнулся через перила галереи и сверкает на солнце множеством всевозможных предметов из меди, железа и бронзы – ключами, кольцами, гвоздями, которыми он тщеславно украшает свое воображаемое царское достоинство.

Вот уже пятнадцать лет, как этот мудрец живет здесь и бродит медленным шагом со спокойным и величественным видом – действительно, настолько величественным, что ему с почтением кланяются. Он произносит в ответ царственным тоном несколько слов, означающих: «Добро пожаловать! Рад вас видеть!». А потом больше не смотрит на вас.

Вот уже пятнадцать лет, как этот человек не ложился. Он спит, сидя на ступеньке посередине больничной каменной лестницы. Никто ни разу не видал, чтобы он вытянулся.

Мне неинтересны теперь остальные больные, к тому же настолько немногочисленные, что они наперечет в больших белых залах, откуда из окон открывается вид на широко раскинувшийся, сверкающий на солнце город, над которым, как пузыри над водой, вздымаются купола мечетей и кубб.

Я ухожу, охваченный смутным волнением, полный жалости, а может быть, и зависти к некоторым из этих одержимых бредом людей, переживающих в своей тюрьме, не замечаемой ими, ту мечту, которую они когда-то нашли на дне маленькой трубочки, набитой

несколькими желтыми листочками.

В тот же вечер один французский чиновник, снабженный особыми полномочиями, предложил проводить меня в некоторые арабские значные места, куда доступ для иностранцев крайне затруднен.

Впрочем, нам пришлось отправиться в сопровождении агента местной полиции, без чего перед нами не открылась бы ни одна дверь даже самого гнусного туземного притона.

Арабский город в Алжире по ночам полон оживления. С наступлением вечера Тунис словно вымирает. Узенькие улицы, извилистые и неровные, кажутся проходами покинутого города, в котором местами позабыли погасить газовые фонари.

Вот мы в самой глубине этого лабиринта из белых стен, и нас вводят к еврейкам, исполняющим танец живота. Этот танец безобразен, неграциозен и интересен только для любителей мастерства исполняющей его артистки. Три девицы, три сестры, чрезвычайно разряженные, проделывали свои непристойные кривляния под благосклонным оком матери, невероятной груди жира с колпаком из золоченой бумаги на голове; после каждого приступа содрогания дочерних животов мать производила среди зрителей сбор на содержание заведения.

Через три полуоткрытых двери салона можно было видеть низкие лежа трех спален. Я открыл четвертую дверь и увидел лежавшую на кровати женщину, показавшуюся мне красивой. Но тут на меня набросились мать, танцовщицы, двое слуг-негров и какой-то раньше не замеченный мною человек, глядевший из-за занавески, как волнуются животы его сестер. Я чуть было не вошел в комнату его законной жены, которая была беременна, в комнату снохи, невестки этих распутниц, которые тщетно пытались привлечь нас, хотя бы на один вечер, в лоно своей семьи. В извинение за то, что меня не пустили, мне показали первого ребенка этой дамы, девочку лет трех или четырех, которая уже пыталась воспроизвести танец живота.

Я ушел с чувством глубокого отвращения.

С великими предосторожностями меня провели затем в квартиру дорогих арабских куртизанок. Пришлось сторожить в конце улицы, вести переговоры, угрожать, так как если бы туземцы узнали, что к этим женщинам входил руми, они были бы отвергнуты, заклеимены, разорены. Там я увидел толстых брюнеток, весьма посредственной красоты, в комнатухах, переполненных зеркальными шкафами.

Мы собирались уже вернуться в гостиницу, когда агент туземной полиции предложил провести нас в самый обыкновенный притон, в публичный дом, двери которого он заставит открыть своей властью.

И вот мы снова следуем за ним ощупью по черным переулкам, которых никогда не забудешь, зажигаем спички, чтобы не упасть, но, тем не менее, оступаемся на неровной почве, задеваем о стены домов то плечом, то рукой и слышим порою за стенами голоса, звуки музыки, шум дикого веселья, приглушенные, далекие, жуткие по своей невнятности и таинственности. Мы в самом центре квартала разврата.

Мы останавливаемся у одних дверей, притаившись справа и слева от них, в то время как полицейский стучит кулаком, выкрикивая какую-то фразу по-арабски, по-видимому, приказание.

Из-за двери отвечает слабый голос, голос старухи, и теперь до наших ушей доносятся из самой глубины этого вертепа звуки музыкальных инструментов и крикливое пение арабских женщин.

Нам не хотят отпирать. Полицейский сердится, и из его горла вырываются быстрые, резкие, раздраженные звуки. Наконец дверь приоткрывается, он толкает ее, входит в дом, точно в завоеванный город, и широким жестом победителя как бы говорит нам: «Следуйте за мною!»

Мы следуем за ним и спускаемся по трем ступенькам, которые приводят нас в низкую комнату, где вдоль стен спят на коврах четверо арабчат; это дети дома. Старуха, одна из тех туземных старух, похожих на кучу движущегося желтого тряпья, из которого торчит невероятная, татуированная голова ведьмы, еще пытается преградить нам дорогу. Но дверь закрылась, и мы входим в первый зал, где стоят несколько человек, загораживая проход во второй зал, куда им не удалось проникнуть; они сосредоточенно слушают странную резкую музыку, доносящуюся оттуда. Первым проходит в зал полицейский, растолкав постоянных посетителей, и мы проникаем в узкое, продолговатое помещение, где арабы скученно сидят на досках, которые тянутся вдоль обеих выбеленных стен до самого конца комнаты.

Там, на большой европейской кровати, занимающей всю ширину помещения, возвышается пирамида других арабов, невероятным образом взгромоздившихся друг на друга, целая груда бурнусов, откуда торчат пять голов в тюрбанах.

Перед кроватью на скамейке, лицом к нам, за низким столиком красного дерева, уставленным стаканами, бутылками пива, чашками кофе с маленькими оловянными ложками, сидят четыре женщины и поют бесконечную тягучую южную мелодию под аккомпанемент инструментов, на которых играет несколько музыкантов-евреев.

Женщины разряжены, как в феерии, как принцессы из Тысячи и одной ночи, и одна из них, лет пятнадцати, отличается такой изумительной, такой совершенной, такой редкостной красотой, что она озаряет это странное место, превращая его в нечто неожиданное, символическое, незабываемое.

Ее волосы сдерживает золотой обруч, стягивающий лоб. Под этой прямой металлической полоской – два огромных глаза, со взглядом пристальным, бесстрастным, бездонным, два черных, продолговатых, широко расставленных глаза; их разделяет нос этого божества, нисходящий к маленькому детскому роту, который раскрывается для пения и кажется единственной живой частью лица. Это лицо без выражения; правильность его черт первобытна и великолепна; она создана такими простыми линиями, что они кажутся естественными и единственно возможными здесь формами.



Во всяком лице можно было бы, казалось, заменить какую-нибудь черту или деталь, позаимствовав ее у другого человека. Но в лице этой арабской девушки решительно ничего нельзя изменить, настолько рисунок его совершенен и типичен. Гладкий лоб, словно изваянные щеки, незаметно переходящие в тонкий подбородок, безупречный овал чуть смуглого лица, единственно возможные здесь нос, рот и глаза – все это воплощает идеальное представление об абсолютной красоте, которая чарует наш взгляд и не вполне удовлетворяет разве только нашу мечту. Рядом с первой девочкой находится другая, тоже очаровательная, но не такой исключительной красоты, одно из тех белых, нежных лиц, которые словно вылеплены из молочного теста. А по сторонам этих двух звезд сидят две другие женщины, животного типа, круглоголовые, скуластые, две бродячие проститутки из тех пропащих созданий, которых племена теряют на пути, снова подбирают и снова теряют, чтобы оставить их наконец в хвосте какого-нибудь отряда спаги, который уводит их за собой в город.

Они поют, ударяя по дарбуке руками, покрасневшими от хны, а еврей-музыканты аккомпанируют им на маленьких гитарах, тамбуринах и пронзительных флейтах.

Все слушают молча, без улыбки, с величавой серьезностью.

Куда мы попали? В храм ли какой-то варварской религии или в публичный дом?

В публичный дом? Да, мы в публичном доме, и ничто в мире не производило на меня более неожиданного, более свежего, более красочного впечатления, чем эта длинная низкая комната, где девушки, убранные, как для священнодействия, ожидают прихоти одного из этих важных мужчин, которые словно бормочут про себя стихи корана даже посреди кутежа.

Мне указывают на одного из них, который сидит перед крошечной чашкой кофе, подняв глаза к небу с благоговейным видом. Он содержит это божество, и почти все остальные – его гости. Он угощает их напитками, музыкой и созерцанием красавицы до той поры, пока не попросит их разойтись по домам. И они уйдут, величественно откланявшись ему. Этот человек, с таким тонким вкусом, хорош собою, молод, высок; у него прозрачная кожа араба-горожанина, которая кажется еще светлее от черной бороды, шелковистой, блестящей и немного редкой на щеках.

Музыка умолкает, мы аплодируем. Присутствующие вторят нам. Мы сели на табуретки среди груды людей. Вдруг длинная черная рука ударяет меня по плечу, и голос, странный голос туземца, пытающегося говорить по-французски, заявляет:

– Мой тоже не отсюда. Француз, как и ты.

Я оборачиваюсь и вижу великана в бурнусе, одного из самых высоких, самых худых, самых костлявых арабов, каких мне только приходилось встречать.

– Откуда же ты? – спрашиваю я с удивлением.

– Из Алжира!

– А! Держу пари, что ты кабил?

– Да, мусью.

Он рассмеялся в восторге, что я угадал его происхождение, и, указывая на своего товарища, добавил:

– И он тоже.

– А! Вот что.

Это было во время чего-то вроде антракта.

Женщины, к которым никто не обращался, сидели неподвижно, как статуи, и я пустился в разговор с моими двумя соседями-алжирцами при помощи агента туземной полиции.

Я узнал, что они пастухи, землевладельцы из окрестностей Буджи, и что в складках бурнусов они носят с собою туземные флейты, на которых играют по вечерам для развлечения. Видимо, им хотелось похвалиться своим талантом, и они показали мне две тонкие тростниковые трубочки с просверленными в них дырочками, две настоящие тростинки, срезанные ими на берегу речки.

Я попросил, чтобы им позволили поиграть, и все тотчас же смолкли с изысканной вежливостью.

Ах, какое удивительное и сладостное ощущение проникло в мое сердце с первыми нотами, такими легкими, необычными, незнакомыми и неожиданными, этих двух голосов, исходящих из двух трубочек, выросших в воде! Мотив был изящный, нежный, отрывистый, скачущий: звуки летали и летали друг за другом, но никогда не могли сочетаться, встретиться и слиться, пение то и дело замирало и начиналось снова, пронеслось мимо, реяло вокруг нас, как дыхание души листьев, души лесов, души ручейков, души ветра, проникшее вместе с двумя этими рослыми пастухами кабийских гор в публичный дом тунисского пригорода.

НА ПУТИ В КАЙРУАН

11 декабря

Мы выезжаем из Туниса по прекрасной дороге, которая сперва тянется вдоль возвышенности, затем берегом озера, потом пересекает равнину. Широкий горизонт, замкнутый цепью гор, вершины которых подернуты дымкой, совершенно пустынен, и только местами виднеются вдали белые пятна деревень, где над неясной массой домов возвышаются остроконечные минареты и маленькие купола

кубб. По всей фанатичной африканской земле нам то и дело встречаются эти блестящие купола – то среди плодородных равнин Алжира и Туниса, то, как маяки, на округленных вершинах гор, то в глубине кедровых или сосновых лесов, то по краям глубоких оврагов, в чаще мастиковых деревьев и пробковых дубов, то в желтой пустыне, между двумя финиковыми пальмами, склоняющими свои вершины, одна справа, другая слева, над молочно-белым куполом, на который они бросают легкую и тонкую тень ветвей.

В останках марабутов содержится некое священное семя, оплодотворяющее безграничную почву ислама, зарождающая в ней от Танжера до Тимбукту, от Каира до Мекки, от Туниса до Константинополя, от Хартума до Явы самую могучую и наиболее таинственно-властную из всех религий, когда-либо подчинявших себе человеческие души.

Маленькие круглые, стоящие особняком, и такие белые, что от них излучается свет, эти гробницы в самом деле производят впечатление божественных семян, пригоршнями разбросанных по свету великим сеятелем веры Магометом, братом Аиссы и Моисея.

Нас уносит крупной рысью четверка лошадей, запряженных в ряд, и мы долго едем по бесконечным равнинам, засаженным виноградниками и засеянным злаками, которые только начинают всходить.

Но вдруг дорога, великолепная дорога, построенная инженерным ведомством уже после установления французского протектората, разом обрывается. Последними дождями смыло мост, который был слишком мал, чтобы пропустить массы воды, хлынувшей с гор. Мы с великим трудом спускаемся в овраг, и коляска, поднявшись на другую его сторону, снова катит по прекрасной дороге, одной из главных артерий Туниса, выражаясь официальным языком. Мы едем рысью еще несколько километров, пока не встречается еще один маленький мост, тоже не выдержавший напора воды. Дальше, наоборот, уцелел только мост; он стоит невредимо, какою-то крошечной триумфальной аркой, а дорога, размытая с обеих сторон, превращена в две пропасти, окружающие эту новехонькую руину.

Около полудня мы видим перед собою какое-то странное сооружение. На краю дороги, почти уже исчезнувшей, появляется целая группа плотно слившихся домиков, немногим выше человеческого роста, перекрытых непрерывным рядом сводов, одни из которых несколько возвышаются над другими и придают всему этому селению сходство со скопищем гробниц. Вокруг бегают оцетинившиеся белые собаки, встречающие нас громким лаем.

Эта деревушка называется Горомбалия: она была основана одним андалузским вождем-магометанином, Мохаммедом Горомбали, изгнанным из Испании Изабеллю Католической.

Здесь мы завтракаем и едем дальше. Повсюду в отдалении можно разглядеть в бинокль развалины римских городов. Сперва Вико Аурелиано, далее более значительный Сиаго, в котором сохранились византийские и арабские постройки. Но вот прекрасная дорога, главная артерия Туниса, превращается в сплошные ужаснейшие ухабы. Дождевая вода изрыла ее, размывла и разрушила. Мосты или провалились и представляют собою лишь груды камней на дне оврага или уцелели, но вода, пренебрегая ими, проложила себе путь в другом месте и прорезала в насыпи инженерного ведомства траншеи в пятьдесят метров шириной.

Отчего эти повреждения и развалины? Все тут понятно с первого взгляда даже ребенку. Эти мостики, к тому же слишком узкие, оказываются ниже уровня воды, как только наступают дожди. Одни из них, затопленные потоком и загроможденные сучьями, которые он несет с собою, бывают просто смыты, а под другими мостами, расположенными не по обычному его пути, капризный поток не желает проходить и течет, назло инженерам, по старому руслу. Эта дорога от Туниса до Кайруана производит потрясающее впечатление. Она не только не помогает передвижению людей и экипажей, но делает его просто невозможным, создавая на пути бесчисленные опасности. Старую арабскую дорогу, которая была вполне хороша, уничтожили и заменили рядом рытвин, разрушенных арок, бугров и ям. Работы еще не закончены, а уже приходится все перестраивать заново. После каждого дождя снова принимаются за работу, не желая сознаться, не желая понять, что придется только вечно восстанавливать эту цепь рушащихся мостов. Мост в Анфидавиле перестраивался два раза. Его только что снесло опять. Мост Уэд-эль-Хаммам разрушен уже в четвертый раз. Это какие-то плавучие, ныряющие, кувыркающиеся мосты. Одни лишь старые арабские мосты стоят прочно.

Сначала сердисься, так как коляска вынуждена спускаться в почти непроходимые овраги, где раз десять за час рискуешь опрокинуться, потом начинаешь смеяться, как над неподражаемой шуткой. Чтобы избежать этих опасных мостов, приходится делать длиннейшие объезды, ехать на север, возвращаться на юг, поворачивать на восток и снова направляться на запад. Бедные туземцы вынуждены были пробить себе топором, киркой и косарем новый путь через заросли каменного дуба, туи, мастикового дерева, вереска и алепской сосны, так как старый путь нами разрушен.

Вскоре мелкая поросль исчезает и впереди простирается лишь волнистая равнина, изборожденная рытвинами, в которых кое-где виднеются белые кости скелета животного с выдающимися ребрами или падаль, наполовину съеденная хищными птицами и собаками. Пятнадцать месяцев на эту землю не упало ни единой капли дождя, и половина животных околела здесь от голода. Их трупы, рассеянные повсюду, отравляют воздух и придают этим равнинам вид бесплодной пустыни, сожженной солнцем и опустошенной чумою. Одни лишь собаки жирны: они откормились этим разлагающимся мясом. Нередко можно видеть, как они вдвоем или втроем с остервенением терзают гнилую тушу. Упершись лапами, они тянут к себе длинную ногу верблюда или короткую ногу осла, раздирают грудь лошади или копаются в брюхе коровы. Видно издали, как они, оцетинившись, бродят в поисках падали, обратив нос по ветру, вытянув острые морды.

Трудно себе представить, что эта почва, которую в течение двух лет жгло беспощадное солнце и целый месяц затопляли проливные дожди, превратится к марту и апрелю в бесконечную степь, поросшую травой в рост человека и бесчисленными цветами, каких не встретишь в наших садах. Каждый год, когда идут дожди, вся область Туниса переходит в течение нескольких месяцев от самой ужасной засухи к самому бурному плодородию. Из Сахары, лишенной последней травинки, она внезапно, как по волшебству, чуть ли не в несколько дней превращается в буйно-зеленую Нормандию, в Нормандию, опьяневшую от зноя, где посевы наливаются таким богатым соком, что они у вас на глазах выходят из земли, растут, желтеют и вызревают.

Эта равнина местами обрабатывается арабами чрезвычайно оригинальным способом.

Они живут либо в белеющих вдали деревнях, либо в гурби – шалашах, построенных из веток, либо в бурых остроконечных палатках,

которые, подобно огромным грибам, прячутся в сухом кустарнике или в зарослях кактусов. Если последний урожай был обилен, арабы рано готовят пашню; но если засуха довела их до голода, они обычно выжидают первых дождей, прежде чем решиться высеять последнее зерно или испросить посевную ссуду у правительства, которое дает ее довольно легко. Когда же проливные осенние дожди размочат почву, арабы отправляются к каиду, в руках которого сосредоточены все плодородные земли, или к новому землевладельцу-европейцу, который часто сдает землю по более дорогой цене, но не обворовывает их и разрешает все споры более справедливо и, конечно, неподкупно; они указывают выбранный ими участок, обозначают границы, снимают его в аренду на один лишь сезон и принимаются за обработку.

Тогда можно наблюдать удивительное зрелище! Всякий раз, как, покинув бесплодные и каменистые районы, вы вступаете в плодородную местность, в отдалении показываются неправдоподобные силуэты верблюдов, запряженных в плуги. Высокое фантастическое животное тащит своим медленным шагом жиденькое деревянное орудие, которое подталкивает сзади араб, одетый во что-то вроде рубахи.

Вскоре эти странные группы увеличиваются числом, потому что вы приближаетесь к области, которая всех привлекает. Они движутся взад и вперед, вкривь и вкось по всей равнине, эти невыразимые силуэты животного, орудия и человека, причем все эти три составных элемента словно спаяны между собою, образуя единое апокалиптическое, забавное в своей торжественности существо.

Иногда верблюда заменяет корова, осел, а иногда даже женщина. Однажды я видел женщину, запряженную в паре с осликом: она тащила тяжесть не хуже, чем животное, а мужчина подталкивал сзади плуг, подгоняя эту жалкую упряжку.

Борозда, которую проводит араб, не так красива, глубока и пряма, как у европейского пахаря; это зубчатая линия, петляющая как попало по поверхности земли, вокруг кустиков африканского шиповника. Небрежный землепашец не остановится, не нагнется, чтобы выколоть сорняк, растущий на его пути. Он старательно обходит его, оберегает, заключая в кривые извилины своей пахоты, как нечто драгоценное, как нечто священное. И поэтому поля покрыты здесь кустиками, иные из которых так малы, что вырвать их рукой ничего не стоит. Один вид этих посевов, представляющих смесь злаков и сорняка, под конец так раздражает, что хочется взять мотыгу и прополоть эти поля, где среди кустов дикого шиповника движется фантастическая тройка: верблюд, плуг и араб.

В этом спокойном равнодушии, в этом уважении к растению, выросшему на божьей земле, мы снова встречаемся с фаталистической душой жителя Востока. Раз оно здесь выросло, это растение, на то, несомненно, была воля господина. Зачем разрушать и уничтожать дело его рук? Не лучше ли свернуть в сторону и обойти сорняк? Если он разрастется настолько, что заполнит весь участок, разве нет другой земли подальше? Зачем брать на себя этот труд, делать лишнее движение, лишнее усилие, увеличивать неизбежную работу лишней затратой сил, как бы ничтожна она ни была?

У нас крестьянин, относящийся более ревниво к своей земле, чем к жене, гневно набросился бы с мотыгой в руках на врага, выросшего на его поле, и без устали до полной победы размашисто бил бы, как дровосек, по цепким корням, глубоко проникшим в почву.

А здесь – какое до этого дело арабам? Никогда они не уберут попавшегося им на пашне камня; они и его обойдут плугом. Некоторые поля один человек мог бы за час очистить от камней, лежащих на поверхности, из-за чего плуг бесконечное число раз искривляет свой путь. Но поля никогда не будут очищены. Камень лежит, и пусть его лежит. На то божья воля!

Когда кочевники кончают сев на избранных ими участках, они уходят в другие места искать пастбищ для своих стад, оставляя для охраны посевов только одну семью.

Сейчас мы проезжаем по огромному поместью в сто сорок тысяч гектаров, носящему название Энфида; оно принадлежит французам. Покупка этого огромного владения, проданного генералом Хайр-эд-Дином, бывшим министром бея, явилась одним из решающих факторов французского влияния в Тунисе.

Забавны и характерны обстоятельства, сопровождавшие эту покупку. Когда французские капиталисты и генерал договорились относительно цены, обе стороны отправились к кади для составления купчей. Но в тунисском законодательстве имеется специальное постановление, предоставляющее владельцам участков, смежных с продаваемой землей, преимущественное право приобретения ее по той же цене.

У нас под «той же ценой» разумеется равная сумма денег в любой ходячей монете; между тем восточный кодекс, который всегда оставляет лазейки для сутяжничества, требует, чтобы цена была уплачена соседом теми же денежными знаками, тем же числом одинаковых по ценности процентных бумаг, банковых билетов одинакового достоинства, золотых, серебряных или медных монет. И наконец, дабы в некоторых случаях сделать эту трудную задачу совершенно неразрешимой, закон предоставляет кади право позволить первому покупателю добавлять к обусловленной цене горсть мелких монет неопределенного, а следовательно, и неизвестного достоинства, что лишает соседей возможности представить совершенно тождественную сумму денег.

Ввиду протеста одного еврея, г-на Леви, владельца соседнего с Энфидой поместья, французы просили у кади разрешения добавить к условленной цене эту горсть мелких монет, в чем им, однако, было отказано.

Но мусульманское законодательство изобилует всяческими уловками; найден был другой прием. Решено было купить этот огромный земельный массив – сто сорок тысяч гектаров, исключив из него узкую ленту в метр шириною по всей его периферии. Таким образом, участок не граничил больше ни с одним из прежних соседей, и Франко-африканской компании удалось приобрести Энфиду вопреки стараниям ее врагов и министерства бея.

Компания произвела огромные мелиорационные работы на всех плодородных частях Энфиды, насадила виноградники, деревья, основала поселки и разбила земли на равные участки в десять гектаров каждый, чтобы арендатор-араб имел возможность выбирать и указывать облюбованный им участок без всяких недоразумений.

Нам придется ехать по этой тунисской провинции в течение двух дней, прежде чем мы достигнем противоположного ее края. С некоторого времени дорога из простой тропы, извивавшейся среди кустов крушины, стала вполне проезжей, и мы уже радовались тому,

что нам удаётся зазвездить добравшись до Бу-Фиша, где собирались ночевать, как вдруг увидели целую многоплеменную армию рабочих, которая вместо вполне сносной дороги сооружала дорогу французскую, чреватую бесчисленными опасностями; нам снова пришлось ехать шагом. Удивительны эти рабочие! Толстогубый негр с выпуклыми белками глаз, с ослепительными зубами работает киркой возле араба с тонким профилем, волосатого испанца, марокканца, мавра, мальтийца, землекопа-француза, неведомо как и почему попавших в эту страну; тут и греки и турки – все типы левантинцев; можно себе представить, каков уровень нравственности, честности и дружелюбия в этой разношерстной орде!

Часов около трех мы подъезжаем к самому обширному караван-сараяу, какой мне доводилось когда-либо встречать. Это целый город, или, вернее, деревня, заключенная в единую ограду, опоясывающую три последовательно расположенных огромных двора, где в маленьких, как стойла, чуланах размещены люди – хлебопеки, сапожники, разного рода торговцы, – а под арками – животные. Несколько чистых келий с кроватями и циновками предназначены для знатных путешественников.

На стене террасы сидят два белых, серебристых, блестящих голубя и глядят на нас красными глазами, сверкающими, как рубины.

Лошадей напоили. Мы снова пускаемся в путь.

Дорога несколько приближается к морю, и мы видим на горизонте синеватую его полосу. На конце мыса появляется город, прямая линия которого, ослепительно блестящая в лучах заходящего солнца, словно бежит по воде. Это Хаммаммет, который при римлянах назывался Пут-Пут. Вдали на равнине перед нами возвышаются округлые развалины, которые благодаря миражу кажутся огромными. Это опять римская гробница, вышиною всего лишь в десять метров, известная под названием Карс-эль-Менара.

Наступает вечер. Небо над нашей головой синее, но перед нами простирается густая фиолетовая туча, в которую заходит солнце. Ниже этого слоя облаков, на горизонте, тянется над морем узкая розовая полоса, совершенно прямая и правильная, которая с минуты на минуту, по мере того как к ней спускается невидимое светило, становится все ярче и ярче. Птицы проносятся мимо нас, тяжело и медленно взмахивая крыльями; это, кажется, сарычи. Я глубоко ощущаю наступление вечера; это чувство с необычайной силой проникает в душу, в сердце, во все тело на этой дикой равнине, которая тянется до самого Кайруана, находящегося на расстоянии двух дней пути. Такова же, наверное, бывает и русская степь в вечерние сумерки. Навстречу нам попадают три человека в бурнусах. Издали я принимаю их за негров – до того черна и так лоснится их кожа, – потом узнаю арабский тип лица. Это люди из Суфа, любопытного оазиса, наполовину погребенного в песках между шоттами и Тугуртом. Вскоре спускается ночь. Лошади идут шагом. Но вдруг во мраке вырастает белая стена. Это северная контора Энфиды, бордж Бу-Фиша, своего рода квадратная крепость, защищенная от внезапного налета арабов глухими стенами, с одной лишь железной дверью. Нас ждут: жена управляющего, г-жа Моро, приготовила нам превосходный обед. Вопреки инженерному ведомству мы все же проехали восемьдесят километров.

12 декабря

На рассвете мы снова пускаемся в путь. Заря розовая, густо-розовая. Как бы выразиться? Лососево-розовая, сказал бы я, будь этот тон поярче. В самом деле, у нас не хватает слов, чтобы вызвать перед взором все сочетания тонов. Наш глаз, глаз современного человека, умеет улавливать бесконечную гамму оттенков. Он различает все соединения красок, все их переходы, все изменения, обусловленные посторонними влияниями, светом, тенью, часом дня. Но для того, чтобы выразить все эти тончайшие цветовые оттенки, у нас имеется только несколько слов, тех простых слов, которыми пользовались наши отцы, рассказывая о редких впечатлениях своих неискушенных глаз.

Взгляните на современные ткани. Сколько здесь невыразимых оттенков между тонами основными! Для того, чтобы определить их, приходится прибегать к сравнениям, всегда неудовлетворительным.

То, что я видел в это утро за какие-нибудь несколько минут, я не сумею передать глаголами, существительными и прилагательными.

Мы еще ближе подъезжаем к морю, или, вернее, к обширному водоему, соединенному с морем. В бинокль я замечаю на воде фламинго и выхожу из экипажа, чтобы подползти к ним сквозь кусты и поглядеть на них вблизи.

Я приближаюсь и вижу их лучше. Одни плавают, другие стоят на своих длинных ходулях. Это белые и красные пятна, плавающие по воде, или, скорее, огромные цветы, выросшие на тонком пурпурном стебле, цветы, скучившиеся сотнями то на берегу, то в воде. Можно подумать, что это клумбы алых лилий, откуда, как из цветочного венчика, подымаются птичьих головы в кроваво-красных пятнах на тонкой изогнутой шее.

Я подхожу еще ближе, и вдруг ближайшая стая замечает или чует меня и обращается в бегство. Это похоже на волшебный полет цветника, клумбы которого одна за другой взлетают к небу; я долгу слезу в бинокль за розовыми и белыми облаками, которые уносятся в сторону моря, словно таща за собою кроваво-красные лапки, тонкие, как срезанные ветки.

Этот большой водоем в древности служил убежищем флоту жителей Афродизиума, грозных пиратов, которые устраивали здесь засаду и укрывались от преследования.

В отдалении виднеются развалины этого города, где останавливался Велизарий, идя походом на Карфаген. Там еще можно видеть триумфальную арку, развалины храма Венеры и огромной крепости.

На одной лишь территории Энфиды встречаются остатки семнадцати римских городов. Там на берегу лежит Гергла – некогда богатая Ауреа Целия императора Антонина, и если бы, вместо того чтобы свернуть к Кайруану, мы продолжали двигаться по прямому направлению, то к вечеру третьего дня пути увидели бы на совершенно пустынной равнине амфитеатр Эль-Джем, равный по размерам римскому Колизею, – гигантские развалины здания, вмещавшего до восьмидесяти тысяч зрителей.

Вокруг этого великана, который сохранился бы в полной неприкосновенности, если бы тунисский бей Хамуда не подверг его пушечному обстрелу, чтобы выбить оттуда арабов, не желавших платить подати, найдены были кое-где следы обширного и роскошного города:

огромные цистерны и гигантская коринфская капитель самого чистого стиля, высеченная из целой глыбы белого мрамора.

Какова история этого города – Тисдриты Плиния, Тисдра Птоломея, – города, имя которого упоминается всего лишь один или два раза у историков? Чего недоставало ему, такому большому, людному, богатому, чтобы прославиться? Почти ничего... Только Гомера!

Чем была бы Троя без Гомера? Кто знал бы об Итаке?

В этой стране наглядно познаешь, что такое история, и особенно, что такое библия. Здесь постигаешь, что патриархи и все легендарные лица, такие великие в книгах, такие внушительные в нашем воображении, были всего-навсего бедняки, бродившие среди первобытных племен, как бродят эти арабы, серьезные и простые, еще сохранившие душу древних и носящие одежду древности. Но только у патриархов были поэты-историки, воспевшие их жизнь.

По крайней мере, хоть раз в день под оливковым деревом или на опушке кактусовой заросли мы видим Бегство в Египет; невольно улыбаешься, когда вспоминаешь, что наши галантные живописцы посадили деву Марию на осла, на котором, конечно, сидел Иосиф, ее муж, в то время как она следовала за ним тяжелым шагом, немного согнувшись и неся на спине в сером от пыли бурнусе маленькое, круглое, как шарик, тельце младенца Иисуса.

Но кого мы встречаем на каждом шагу, у каждого колодца – это Ревекку. Она одета в синее шерстяное платье, великолепно драпирующее ее тело; на щиколотках у нее серебряные обручи, а на груди ожерелье из блях того же металла, соединенных цепочками. Иногда при нашем приближении она закрывается, иногда же, если красива, показывает нам свежее загорелое лицо, глядя на нас огромными черными глазами. Это подлинно библейская девушка, та, о которой сказано в Песне Песней «Nigra sum sed formosa», {«Я черна, но прекрасна» (лат.) – слова из «Песни Песней».} – та, которая, держа на голове сосуд, полный воды, спокойно ступая по каменистой дороге упругими, смуглыми ногами, слегка покачивая бедрами и гибким станом, некогда соблазняла небесных ангелов, так же как теперь соблазняет нас, далеко не ангелов.

В Алжире и в алжирской Сахаре все женщины, как городские, так и кочевых племен, одеты в белое. В Тунисской же области, напротив, горожанки с головы до ног закутаны в черные покрывала, которые превращают их в какие-то странные видения на сияющих улицах городков юга, а сельские жительницы носят ярко-синие платья, очень живописные и изящные, придающие им еще более библейский характер.

Теперь мы пересекаем равнину, на которой повсюду видны следы человеческого труда, так как мы приближаемся к центру Энфиды, переименованному в Энфидавил из прежнего Дар-эль-Бея.

Деревья! Вот чудеса! Они уже высокие, хотя посажены всего четыре года назад; это свидетельствует об удивительном богатстве здешней почвы и о тех результатах, каких можно достигнуть основательной и разумной ее обработкой. Дальше среди деревьев показываются большие дома, над которыми реет французский флаг. Это жилище главноуправляющего и ядро будущего города. Вокруг основных построек уже возник поселок, и каждый понедельник здесь происходит базар, где заключаются весьма крупные сделки. Арабы толпами приходят сюда из самых отдаленных местностей.

Нет ничего занимательнее организации этой огромной территории, где интересы туземцев соблюдаются не в меньшей степени, чем интересы европейцев. Она может служить образцом аграрного управления для стран со смешанным населением, где самые различные и противоположные нравы требуют весьма тонко предусмотренного законодательства.

Позавтракав в этой столице Энфиды, мы отправляемся осматривать чрезвычайно любопытную деревню, прилепившуюся на скале, в пяти километрах отсюда.

Сначала мы проезжаем через виноградники, потом возвращаемся на ланду, на бесконечные пространства желтой земли, поросшей кое-где лишь жидкими кустиками крушины.

Уровень подпочвенной воды находится на глубине двух, трех или пяти метров во всех этих равнинах, которые с небольшой затратой труда могли бы быть превращены в огромные оливковые рощи.

Теперь же на них встречаются лишь там и сям небольшие заросли кактусов, не больше наших фруктовых садов.

Вот каково происхождение этих зарослей.

В Тунисской области существует чрезвычайно любопытный обычай, называемый правом оживления почвы, согласно которому каждый араб может захватить необработанную землю и чем-нибудь засадить ее, если в настоящую минуту нет налицо хозяина, который этому бы воспротивился.

И вот араб, облюбовав поле, показавшееся ему плодородным, сажает на нем оливковые деревья или чаще всего кактусы, которые он неправильно называет берберийскими фигами, и в силу одного этого приобретает право ежегодно пользоваться половиной урожая до тех пор, пока существует посаженное им дерево. Другая половина принадлежит собственнику земли, которому остается лишь следить за продажей урожая, чтобы получить причитающуюся ему долю доходов.

Араб-захватчик должен заботиться об этом поле, содержать его в порядке, охранять от воров, ограждать от всякого вреда, как если бы оно принадлежало ему самому, и каждый год он продает плоды с аукциона, чтобы дележ был правильный. Впрочем, почти всегда он приобретает их сам, выплачивая действительному собственнику земли своего рода арендную плату, точно не установленную и пропорциональную стоимости урожая.

Эти кактусовые рощи имеют фантастический вид. Их скрюченные стволы походят на тела драконов, на лапы чудовищ с вздыбленной и покрытой колючками чешуей. Когда встречаешь такое растение ночью, при лунном свете, кажется, что попал в страну кошмаров.

Подножие крутой скалы, на которой стоит селение Так-Руна, покрыто этими высокими дьявольскими растениями. Пробираешься словно по дантовскому лесу. Кажется, что чудовища вот-вот зашевелиятся, замашут широкими круглыми листьями, толстыми и покрытыми длинными иглами, что они схватят вас, сожмут и растерзают своими страшными когтями. Трудно вообразить себе что-нибудь более жуткое, чем этот хаос огромных камней и кактусов, охраняющий подножие горы.

Вдруг посреди этих скал и свирепых растений мы видим колодезь, окруженный женщинами, пришедшими сюда за водой. Серебряные украшения их ног и шеи блестят на солнце. Увидев нас, они закрывают смуглые лица складками синей материи, в которую одеты, и, приставив ко лбу руку, пропускают нас, стараясь получше разглядеть.

Тропинка крута, едва проходима для наших мулов. Кактусы также карабкаются среди скал вдоль дороги. Они словно сопровождают, окружают, теснят нас, следуют за нами и обгоняют. Там, на высоте, в конце подъема, опять виднеется ослепительный купол куббы.

Вот и село: это груда развалин, полуобвалившихся стен, среди которых трудно отличить обитаемые лачуги от тех, которые уже заброшены. Остатки крепостной стены, еще сохранившиеся на севере и на западе, настолько подточены и грозят обвалом, что мы не решаемся к ним подойти: малейшего толчка достаточно, чтобы они обрушились.

Вид сверху великолепен. На юге, востоке и западе бесконечная равнина, почти на всем протяжении омываемая морем. На севере – горы, голые, красные, зубчатые, как петушиный гребень. А там вдали Джебель-Загуан, царящий над всей страной.

Это последние горы, которые мы увидим до самого Кайруана.

Деревушка Так-Руна представляет собой своего рода арабскую крепость, защищенную от внезапных набегов. Слово «Так» – это сокращенное «Таккеше», что означает крепость. Главная обязанность жителей – ибо назвать это занятием нельзя – хранить зерно, сдаваемое им кочевниками после сбора урожая.

Вечером мы возвращаемся на ночлег в Энфидавилль.

13 декабря

Сначала мы едем посреди виноградников Франко-африканской компании, затем достигаем безграничных равнин, где повсюду бродят незабываемые видения, состоящие из верблюда, плуга и араба. Дальше почва становится бесплодной, и я вижу в бинокль расстилающуюся перед нами бесконечную пустыню, полную огромных, торчком стоящих камней; они со всех сторон – и справа и слева, насколько хватает глаз. Приблизившись, мы видим, что перед нами долмены. Это некрополь невообразимых размеров: ведь он занимает сорок гектаров! Каждая могила состоит из четырех плоских камней. Три камня, поставленные вертикально, образуют заднюю и две боковые стороны; четвертый камень, положенный сверху, служит крышей. Долгое время все раскопки, производимые управляющим Энфиды для обнаружения склепов под этими мегалитическими памятниками, не имели успеха. Полтора или два года тому назад г-ну Ами, хранителю парижского этнографического музея, удалось после длительных поисков обнаружить вход в эти подземные гробницы, весьма искусно скрытый в толстом слое камня. Внутри он нашел кости и глиняные сосуды – свидетельство, что это берберские гробницы. С другой стороны, г-н Манджавакки, управляющий Энфиды, обнаружил неподалеку почти исчезнувшие следы обширного берберского города. Каков же был этот город, покрывавший своими мертвецами площадь в сорок гектаров?

Впрочем, часто поражаешься тому пространству, какое восточные народы отводят в этом мире своим предкам. Кладбища их огромны, бесчисленны. Они встречаются повсюду. Могилы в Каире занимают больше места, чем дома. У нас, наоборот, земля дорога и с ушедшими в вечность не считаются. Их укладывают одного вплотную с другим, одного над другим, одного к другому в четырех стенах какого-нибудь закоулка, в городском предместье. Мраморные плиты и деревянные кресты прикрывают поколения, погребенные за целые века на таком кладбище. Это навозные кучи из мертвецов возле любого европейского города. Им едва дают время утратить свою форму в земле, уже удобренной человеческой гнилью, едва дают время смешать свою разложившуюся плоть с этой трупной глиной, но так как все время поступают новые мертвецы, а рядом на соседних огородах выращиваются овощи для живых – эту почву, пожирающую людей, взрывают мотыгами, выбирают из нее попадающиеся кости, черепа, руки, ноги, ребра мужчин, женщин, детей, уже забытых, перемешавшихся между собою, сваливают их кучей в канаву и отводят мертвецам новым, мертвецам, имя которых еще не забыто, место, украденное у тех, которых уже никто не знает, которых поглотило целиком небытие; ведь в цивилизованном обществе надо быть бережливым.

По выходе из этого древнего необъятного кладбища мы видим белый дом. Это Эль-Мензель, южная контора Энфиды, где кончается наш дневной переход.

Мы долго засиделись после обеда, увлекшись беседой, и нам пришла охота немного прогуляться, прежде чем лечь спать. Яркая луна озаряла степь, и свет ее, проникая между лапчатыми листьями огромных кактусов, росших на расстоянии нескольких метров от нас, придавал им сверхъестественный вид стада адских животных, которые вдруг лопнули и раскидали во все стороны круглые части своих безобразных тел.

Мы остановились поглядеть на них, как вдруг слух наш поразил какой-то отдаленный непрерывный могучий гул. То были бесчисленные пронзительные и низкие голоса всевозможных тембров, свист, возгласы, призывные крики, невнятный и страшный рокот обезумевшей толпы, бесчисленной нереальной толпы, которая сражается неизвестно где, не то в небесах, не то на земле. Напрягая слух, поворачиваясь во все стороны, мы наконец убедились, что эти звуки доносятся с юга. Тут кто-то воскликнул:

– Да это птицы с озера Тритона!

На следующий день нам действительно пришлось проезжать мимо этого озера площадью в десять – тринадцать тысяч гектаров, которое арабы называют Эл-Кельбия (сука); некоторые современные географы видят в нем остатки древнего внутреннего моря Африки, местоположением которого до сих пор считали окрестности шоттов Феджедж, Р'арса и Мельр'ир.

Действительно, это было крикливое племя водяных птиц, расположившееся, как разноплеменная армия, на берегах озера, отдаленного от нас на шестнадцать километров; они-то и подняли ночью весь этот гам, потому что там тысячи птиц разных пород, разной величины, разной окраски, начиная с плосконосой утки и кончая длинноклювым аистом. Там можно видеть целые армии фламинго и журавлей, целые эскадры турпанов и морских рыболовов, целые полчища нырков, зуйков, бекасов и пресноводных чаек. В мягком свете луны все эти птицы, радуясь чудной ночи, вдали от человека, который еще не построил себе жилища близ их обширного водяного царства, резвятся, верещат на все голоса, наверно, переговариваются на своем птичьем языке и наполняют ясное небо пронзительными криками, на которые откликается только далекий лай арабских собак да тьякване шакалов.

14 декабря

Проехав еще несколько равнин, местами распаханных туземцами, но большей частью не тронутых плугом, хотя и вполне пригодных для обработки, мы замечаем слева длинную водную поверхность озера Тритона. Мы постепенно к нему приближаемся, и нам кажется, что на нем виднеются острова, множество больших островов, то черных, то белых. Это целые птичьи племена, сплошными массами плавающие на его поверхности. Берегом прогуливаются по двое, по трое, ступая на длинных ногах, огромные журавли. Другие виднеются на равнине между кустами аристотелии, над которыми торчат их настороженные головы.

Это озеро, глубина которого не превышает шести – восьми метров, совершенно пересохло прошлым летом после пятнадцатимесячной засухи, которой не запомнят тунисские старожилы. Однако, несмотря на значительную площадь озера, оно заполнилось осенью в один день, так как в него стекает вся вода от дождей, выпадающих на горах. Залог великого будущего богатства этих земель обусловлен тем, что здесь нет, как в Алжире, таких рек, которые часто пересыхают, но имеют определенное русло, куда собирается небесная влага; напротив, эти земли покрыты едва заметными рытвинами, где достаточно малейшей преграды, чтобы остановить поток воды. А так как уровень их повсюду одинаков, то каждый ливень, выпавший в далеких горах, разливается по всей равнине и превращает ее на несколько дней или на несколько часов в огромное болото, оставляя при каждом из этих наводнений новый слой ила, удобряющий и оплодотворяющий почву, как в Египте, но только без Нила.

Теперь мы достигли беспредельных ланд, покрытых, как проказой, небольшим мясистым растением цвета медянки, которое очень любят верблюды. Поэтому повсюду, куда ни кинешь взгляд, пасутся огромные стада дромадеров. Когда мы проезжаем среди них, они оглядывают нас большими блестящими глазами, и нам кажется, что мы переживаем первые дни мироздания, когда творец в нерешительности, словно желая проверить ценность и результаты своего сомнительного творчества, бросал пригоршнями на землю безобразных животных, которых он впоследствии мало-помалу уничтожил, оставив только некоторые первоначальные типы на этом заброшенном материке, в Африке, где сохранились среди песков забытые им жираф, страус и дромадер.

Какая забавная и милая картина: самка верблюда только что разрешилась от бремени и возвращается к становищу в сопровождении своего верблюжонка, причем его подгоняют прутьями два арабских мальчугана, головы которых не доходят до его крупа. Он уже большой; на его длинных ногах посажено крошечное тельце, заканчивающееся птичьей шеей и удивленной головкой, а глаза всего лишь четверть часа как смотрят на все эти новые вещи: на дневной свет, на ланду, на большое животное, за которым он бежит. Впрочем, он прекрасно, без всяких затруднений и колебаний ступает по этой неровной почве и уже начинает обнюхивать материнское вымя: ведь это животное, которому всего несколько минут от роду, для того и создано природою таким длинноногим, чтобы оно могло дотянуться до материнского бреха.

А вот и другие, которым исполнилось несколько дней или несколько месяцев, и совсем большие с взъерошенной шерстью; одни сплошь желтые, другие светло-серые, третьи черноватые. Окружающая нас природа становится настолько странной, что я ничего подобного в жизни не видел. Справа и слева из земли торчат камни, выстроившиеся рядами, как солдаты, с наклоном в одну и ту же сторону по направлению к Кайруану, пока еще невидимому. Все эти камни, стоящие ровными шеренгами на расстоянии нескольких сот шагов между ними, словно выступили в поход побатальонно. Так они усеивают несколько километров. Между ними нет ничего, кроме песка с примесью глины. Это собрание камней – одно из любопытнейших на земле. У него, впрочем, есть и своя легенда.

Когда Сиди-Окба со своими всадниками прибыл в эту мрачную пустыню, где теперь лежат развалины священного города, он разбил лагерь в этом уединенном месте. Его товарищи, удивленные тем, что он здесь остановился, советовали ему удалиться, но он ответил:

– Мы должны здесь остаться и даже основать город, ибо такова божья воля.

На это они возразили, что здесь нет ни питьевой воды, ни дерева, ни камня для стройки.

Сиди-Окба велел им замолчать и сказал:

– Бог об этом позаботится.

На следующее утро ему доложили, что собачонка нашла воду. Стали рыть землю в том месте и на глубине шестнадцати метров обнаружили ключ, питающий теперь большой, покрытый куполообразным навесом колодец, вокруг которого целый день ходит верблюд, приводя в движение рычаг насоса.

На следующий день арабы, посланные на разведку, сообщили Сиди-Окба, что на склонах соседних гор они заметили леса.

И наконец на третий день выехавшие с утра всадники прискакали, крича, что они только что встретили камни, целое войско камней, идущее походом и, несомненно, посланное богом.

Несмотря на это чудо, Кайруан почти целиком построен из кирпича.

Но вот равнина становится болотом желтой грязи; лошади спотыкаются, тянут, не продвигаясь вперед, выбиваются из сил и падают. Они уходят до самых колен в этот вязкий ил. Колеса тонут в нем по ступицу. Небо заволочло тучами, моросит мелкий дождик, затуманивая

горизонт. Дорога становится в тупик, когда мы взбираемся на одну из семи возвышенностей, называемых семью холмами Кайруана, то снова превращается в отвратительную клоаку, когда мы спускаемся в разделяющие их низины. Вдруг коляска остановилась: одно из задних колес увязло в песке.

Приходится вылезать из экипажа и идти пешком. И вот мы бредем под дождем, исхлестанные бешеным ветром, и подымаем при каждом шаге огромные комья глины, облепляющей обувь; это затрудняет путь, который становится просто изнурительным; мы проваливаемся порою в ямы, полные жидкой грязи, задыхаемся, проклинаем неприветливую землю и совершаем настоящее паломничество к священному граду; оно, быть может, зачтется нам на том свете, если паче чаяния бог пророка окажется истинным богом.

Известно, что для правоверных семь паломничеств в Кайруан равняются одному паломничеству в Мекку.

После того как мы таким утомительным способом месим грязь на протяжении одного-двух километров, перед нами в отдалении вырастает среди тумана тонкая остроконечная башня, едва заметная, лишь немного гуще окрашенная, чем окружающий ее туман, и теряющаяся верхушкой в облаках. Это смутное и волнующее видение постепенно выступает более отчетливо, принимает более ясную форму и превращается наконец в высокий минарет, уходящий в небо; ничего другого не видно ни вокруг, ни внизу: ни города, ни стен, ни куполов мечетей. Дождь хлещет нам в лицо, и мы медленно идем к этому сероватому маяку, выросшему перед нами, как башня-призрак, которая вот-вот растает и сольется с туманом, откуда она только что возникла.

Но вот вправо от нас вырисовывается здание, увенчанное куполами – это так называемая мечеть Брадобрея, – и наконец показывается самый город – расплывчатая, неопределенная масса за пеленою дождя; минарет кажется теперь уже не таким высоким, словно он ушел в землю, после того как поднялся в поднебесье, чтобы указать нам путь к городу.

Боже, какой это печальный город, затерянный в пустыне, в одиноком, бесплодном и голом месте! На узких, извилистых улицах арабы, укрывшись в лавочках торговцев, смотрят на нас, когда мы проходим мимо, а встречная женщина – черное привидение на фоне пожелтевших от дождя стен – походит на смерть, прогуливающуюся по городу.

Нам оказывает гостеприимство тунисский губернатор Кайруана Си-Мохаммед-эль-Марабут, генерал бея, благороднейший и благочестивейший мусульманин, трижды совершивший паломничество в Мекку. С изысканной и важной любезностью проводит он нас в комнаты, предназначенные для иностранных гостей, где мы находим большие диваны и дивные арабские покрывала, в которые закутываются, ложась спать. Из почтения к нам один из его сыновей собственноручно приносит все предметы, в которых мы нуждаемся.

В тот же вечер мы обедали у гражданского контролера и французского консула, где встретили радушный прием; было оживленно и весело, и это согрело и утешило нас после нашего плачевного прибытия.

15 декабря

Еще не рассвело, когда один из моих спутников разбудил меня. Мы сговорились пойти в мавританскую баню рано утром, до осмотра города.

Уличное движение уже началось, так как жители Востока привыкли вставать до зари, а между домами мы видим чудное небо, чистое и бледное, сулящее жару и солнечный свет.

Мы идем по одним улицам, затем по другим, минуем колодезь, где верблюд, привязанный под куполообразным навесом, без конца ходит по кругу, накачивая воду, и проникаем в темный дом с толстыми стенами, где сперва ничего не видно и где уже при входе захватывает дыхание от жаркого и влажного воздуха.

Затем мы различаем арабов, дремлющих на циновках; хозяин заведения, после того как нам помогли раздеться, вводит нас в баню – нечто вроде черной сводчатой темницы, куда свет зарождающегося дня проникает сверху, через узкое окошко в своде, и где пол залит какой-то клейкой водой, идя по которой на каждом шагу рискуешь поскользнуться и упасть.

Когда после всех операций массажа мы выходим на свежий воздух, нас ошеломляет и пьянит радость, потому что взошедшее солнце озаряет улицы, и мы видим город, белый, как все арабские города, но еще более дикий, более характерный, более ярко запечатленный фанатизмом, поразительный своей явной бедностью, своим жалким, но гордым благородством, – священный град Кайруан.

Население его только что пережило страшный голод, и на всем лежит отпечаток нужды, кажется, даже на самих домах. Здесь, как в поселках Центральной Африки, торговцы, сидя по-турецки на земле, в лавчонках, величиной с коробку, продают всевозможные нехитрые товары. Вот финики из Гафсы или из Суфа, слипшиеся в большие комья вязкого теста, от которого продавец, сидя на той же доске, отрывает пальцами нужный кусок. Вот овощи, пряности, печения; в суках – длинных, сводчатых, извилистых базарах – материи, ковры, конская сбруя, украшенная золотым и серебряным шитьем, и тут же невообразимое количество сапожников, изготовляющих желтые кожаные туфли. До французской оккупации евреям не удавалось поселиться в этом недоступном для них городе. Сейчас они в Кайруане кишат и постепенно завладевают им. В их руках уже находятся драгоценные украшения женщин и купчие на часть домов, под которые они выдали ссуды и собственниками которых быстро становятся благодаря системе переписки долговых обязательств и быстрого роста суммы долга – системе, практикуемой ими с поразительной ловкостью и неукротимой алчностью.

Мы идем к мечети Джама-Кебир, или Сиди-Окба, высокий минарет которой господствует над городом и над пустыней, отделяющей его от остального мира. На повороте одной улицы мечеть внезапно появляется перед нами. Это обширное, тяжеловесное здание, поддерживаемое огромными контрфорсами, белая масса, грузная, внушительная, красивая какой-то необъяснимой и дикой красотой. При входе в мечеть прежде всего видишь великолепный двор, окруженный двойной галереей, которую поддерживают два ряда изящных римских и романских колонн. Можно подумать, что вы попали во внутренний двор какого-то прекрасного итальянского монастыря.

Самая мечеть находится направо; свет в нее проникает из этого двора через семнадцать двухстворчатых дверей, которые мы просим раскрыть настежь, прежде чем войти.



Во всем мире я знаю только три храма, которые вызвали во мне то же неожиданное и потрясающее волнение, какое я ощутил при посещении этого варварского и изумительного памятника: аббатство горы Сен-Мишель, собор св. Марка в Венеции и Дворцовую капеллу в Палермо.

Но там это продуманные, сознательно созданные, превосходные произведения великих архитекторов, уверенно творивших людей, несомненно благочестивых, но прежде всего художников, вдохновляемых любовью к линиям, к формам и к внешней красоте в той же, если не в большей мере, чем любовью к богу. Здесь – дело иное. Здесь фанатический кочевой народ, едва способный построить простую стену, прибыв в страну, покрытую развалинами, оставленными его предшественниками, стал собирать все то, что ему показалось самым красивым, и из этих обломков одного и того же стиля воздвигнул в божественном вдохновении жилище для своего бога, жилище из кусков, отторгнутых от развалин города, но не менее совершенное и не менее великолепное, чем самые лучшие творения величайших зодчих.

Перед нами открывается храм неимоверных размеров, напоминающий священную рощу, ибо в нем сто восемьдесят колонн из оникса, порфира и мрамора поддерживают своды семнадцати нефов, соответствующих семнадцати дверям.

Взгляд останавливается, блуждает среди этого глубокого лабиринта стройных, круглых, безупречно изящных пилястров, все оттенки которых смешиваются и гармонически сочетаются между собою, а византийские капители африканской и восточной школы обнаруживают редкую тонкость работы и бесконечное разнообразие рисунка. Некоторые из них, на мой взгляд, – совершенство красоты. Наиболее оригинальная представляет пальму, согнутую порывом ветра.

По мере того, как я иду вперед по этому божественному зданию, все колонны, кажется, перемещаются, кружатся вокруг меня и образуют все новые, разнообразные и правильные фигуры.

В наших готических соборах главный эффект достигается нарочитой несоразмерностью высоты и ширины. Здесь же, наоборот, редкая гармоничность этого низкого храма достигается многочисленностью и пропорциональностью легких столбов, которые поддерживают здание, заполняют его, заселяют, делают его тем, что оно есть, создают его красоту и величие. Их красочное множество производит впечатление беспредельности, между тем как незначительная высота здания вызывает в душе чувство тяжести. Этот храм обширен, как мир, и в то же время вы чувствуете себя здесь подавленным могуществом божества.

Бог, вдохновивший творцов этого великолепного произведения искусства, – тот самый, который продиктовал коран, но он, конечно, не евангельский бог. Его тонкая и сложная мораль скорее разливается вширь, чем подымается ввысь, скорее поражает нас своим распространением, чем своей возвышенностью.

Повсюду в храме встречаются замечательные детали. Комната султана, входившего в мечеть через особую дверь, сделана из дерева, покрытого тончайшей резьбой, напоминающей ювелирную работу.

Кафедра из резных панелей оригинального рисунка производит дивное впечатление, а мираб, указывающий направление к Мекке, представляет собою восхитительную нишу из окрашенного и позолоченного мрамора и отличается изяществом орнамента и стиля.

Возле этого мираба стоят две колонны так близко одна к другой, что человек с трудом может протиснуться между ними. Арабы, которым это удастся, по словам одних, излечиваются от ревматизма, по словам других, удостоиваются более возвышенных милостей.

Против средних дверей мечети – девярых, считая как с правой, так и с левой стороны, – на другом конце двора возвышается минарет. У него сто двадцать девять ступеней. Мы взбираемся по ним.

С этой высоты Кайруан, лежащий у наших ног, представляется шахматной доской, образуемой его глинобитными плоскими крышами, среди которых вздымаются со всех сторон блестящие плотные купола мечетей и кубб. Кругом необозримая желтая безбрежная пустыня, а около городских стен местами виднеются зеленые пятна кактусовых полей. Горизонт здесь бесконечно пуст и печален и сильнее хватает за душу, чем сама Сахара.

По-видимому, прежде Кайруан был гораздо больше. До сих пор еще упоминают названия исчезнувших кварталов.

Это Драа-эль-Теммар – холм продавцов фиников, Драа-эль-Уйба – холм весовщиков зерна, Драа-эль-Керруйя – холм торговцев пряностями, Драа-эль-Гатрания – холм торговцев дегтем, Дерб-эс-Месмар – квартал торговцев гвоздями.

Уединенно, за стенами города, на расстоянии около одного километра, стоит зауйя, или, вернее, мечеть Сиди-Сахаб (брадобрея пророка); она издали привлекает взоры, и мы направляемся к ней.

Совсем не похожая на Джама-Кебир, откуда мы только что вышли, она отнюдь не величественна, но зато это самая изящная, самая красочная, самая нарядная мечеть и самый совершенный образчик декоративного арабского искусства, какой я когда-либо видел.

По лестнице из старинных фаянсовых изразцов восхитительного стиля вы подымаетесь в прихожую, пол и стены которой выложены такими же изразцами. Затем идет длинный узкий двор, окруженный галереей, арки которой, в форме подков, опираются на римские колонны; когда вы попадаете на этот двор в яркий, безоблачный день, вас ослепляет солнце, широким золотым покровом застилающее все стены, выложенные фаянсовыми изразцами дивных тонов и бесконечного разнообразия рисунков. Обширный квадратный двор, куда вы затем проникаете, в свою очередь, весь украшен ими. Свет блестит, разливается и горит огнем на стенах этого эмалевого дворца, где под пылающим небом Сахары сверкают все узоры, все краски восточной керамики. Поверху бегут причудливые тончайшие арабески. Из этого волшебного двора открываются двери в святилище с гробницей спутника и брадобрея пророка, Сиди-Сахаба, до самой смерти хранившего на своей груди три волоска из его бороды.

Это святилище, украшенное симметричными узорами из белого и черного мрамора, вокруг которых обвиваются надписи, увешанное

мягкими коврами и знаменами, показавшись мне не таким милым и оригинальным и оригинальным, как те незабываемые дворы, через которые проходишь, прежде чем в него проникнуть.

Выходя из мечети, мы пересекаем третий двор, полный молодых людей. Это своего рода мусульманская семинария, школа фанатиков.

Все эти зауи, которыми покрыта почва ислама, являются, так сказать, бесчисленными ячейками орденов и братств, которые разнятся друг от друга видами и формами благочестия правоверных.

В Кайруане зауи очень многочисленны (я не говорю о мечетях, воздвигаемых исключительно в честь аллаха); вот главные из них: зауя Си-Мохаммед-Элуани; зауя Сиди-Абд-эль-Кадер-эль-Джилани, величайшего и наиболее чтимого у магометан святого; зауя эт-Тиджани; зауя Си-Хадид-эль-Хрангани; зауя Сиди-Мохаммед-бен-Айса из Мекнеса; в последней хранятся тамбурины, дарбуки, сабли, железные стрелы и другие орудия – необходимые принадлежности диких церемоний Айсауа.

Эти бесчисленные ордена и братства ислама, во многом напоминающие наши католические монашеские ордена, находятся под особым покровительством какого-нибудь чтимого марабута и связаны с пророком целой цепью благочестивых учителей, называемых у арабов «сельселят»; в начале этого столетия они получили особенное распространение и представляют самый грозный оплот магометанской религии против цивилизации и господства европейских народов.

В книге под заглавием Марабуты и Хуан г-н майор Ринн перечислил и описал их самым исчерпывающим образом.

В этой книге я нашел чрезвычайно любопытные данные об учении и деятельности этих союзов.

Каждый из них утверждает, что в нем одном сохранилось с полной неприкосновенностью послушание пяти заповедям пророка и что пророк указал ему единственный путь к единению с богом, что и составляет цель всех религиозных стремлений мусульман.

Но хотя все эти братства и ордена претендуют на абсолютную ортодоксальность и чистоту учения, у них чрезвычайно разнообразные и отличные друг от друга обычаи, наставления и тенденции.

Одни образуют мощные благочестивые ассоциации, руководимые учеными богословами-аскетами, людьми, действительно выдающимися, теоретически глубоко образованными и опасными дипломатами в их сношениях с нами; они с редким искусством руководят этими школами, где преподается священная наука, возвышенная мораль и способы борьбы с европейцами. Другие организации представляют собой причудливое сборище фанатиков или шарлатанов и напоминают труппу духовных фокусников, то экзальтированных и убежденных, то просто скоморохов, эксплуатирующих людскую глупость и благочестие.

Как я уже сказал, единственная цель всех усилий доброго мусульманина – тесное единение с богом. Различные мистические приемы ведут к этому совершенному состоянию, и каждый союз обладает своим особым методом тренировки. Как общее правило, эти методы приводят простого посвященного в состояние полного одурения, благодаря которому он становится слепым и покорным орудием в руках начальника.

Во главе каждого ордена стоит шейх – хозяин ордена: «В руках твоего шейха ты должен быть, как труп в руках омывающих умерших. Повинуйся ему во всем, что он тебе прикажет, ибо его устами повелевает сам бог. Непослушанием ему ты навлечешь на себя божий гнев. Не забывай, что ты его раб и что ты ничего не должен делать без его приказанья.

«Шейх – избранный богом человек; он выше всех прочих существ и занимает место непосредственно после пророков. Поэтому ты должен видеть повсюду его, только его одного. Изгони из своего сердца всякую иную мысль, кроме мысли о боге или о шейхе».

Ниже этой священной особы стоят макаддемы, викарии или заместители шейха, проводники учения.

И наконец простые посвященные ордена называются хуанами, братьями.

Чтобы достигнуть того состояния галлюцинации, при котором человек сливается с богом, каждое братство имеет свои специальные молитвословия, или, вернее, гимнастику одурения; они называются диркр.

Почти всегда это очень короткое воззвание, или, вернее, повторение одного слова или одной фразы, которые нужно произнести бесконечное число раз.

Равномерно двигая головою и шеей, адепты повторяют двести, пятьсот, тысячу раз подряд слово «бог» или формулу, которая встречается во всех мусульманских молитвах: «Нет бога, кроме бога», – прибавляя к ней несколько стихов, порядок которых составляет пароль данного братства.

Новообращенный в момент своего посвящения называется таламид, после посвящения он мюрид, затем факир, затем суфи, затем сатек и наконец мед джедуб (восхищенный, галлюцинирующий). В этом сане у него появляется вдохновение или безумие, дух отделяется от материи и подчиняется влиянию своего рода мистической истерии. С этого момента человек уже не принадлежит к физическому миру. Для него существует один лишь духовный мир, и ему более не нужно выполнять обряды культа.

Выше этого состояния существует лишь состояние тухида, представляющее собою высшее блаженство, отождествление с божеством.

Экстаз также имеет различные степени, интереснейшее описание которых дает Шейх-Сенусси, член ордена Хелуатия, тайновидцев – толкователей снов. Интересно отметить странную аналогию, какую можно провести между этими мистиками и мистиками христианства.

Вот что пишет Шейх-Сенусеи: «...Позднее адепт воспринимает проявления других светочей, служащих ему самым совершенным талисманом.

«Число этих светочей достигает семидесяти тысяч; оно подразделяется на несколько групп и составляет семь ступеней, через которые достигается совершенство души. Первая из этих ступеней – человечество. Здесь различают десять тысяч светочей, доступных восприятию лишь достойных; цвет этих светочей тусклый. Они сливаются между собою... Чтобы достигнуть второй ступени, надо освятить свое сердце. Тогда открываются десять тысяч других светочей, присущих второй ступени, являющейся ступенью страстного экстаза; их цвет светло-голубой... После этого подходят к третьей ступени – экстаза сердца. На этой ступени адепт видит ад и его атрибуты, а также десять тысяч новых светочей, цвет которых красен, как цвет чистого пламени... С этой ступени можно лицезреть гениев и все их атрибуты, ибо сердце получает возможность наслаждаться семью духовными состояниями, доступными лишь некоторым посвященным.

«Поднявшись на следующую ступень, адепт различает десять тысяч новых светочей, присущих состоянию экстаза бесплотной души. Эти светочи отличаются ярко-желтым цветом. В них видны души пророков и святых.

«Пятая ступень – это ступень таинственного экстаза. На ней можно созерцать ангелов и десять тысяч новых светочей ослепительно белого цвета.

«Шестая ступень – это ступень одержимости. На ней также имеешь возможность видеть десять тысяч новых светочей, цвет которых – цвет прозрачных зеркал. Достигнув этой ступени, испытываешь сладостное восхищение духа, называемое эль-Хадир и составляющее основу духовной жизни. И только тогда удостоиваешься лицезреть нашего пророка Магомета.

«Наконец приходишь к десяти тысячам последних скрытых светочей, дойдя до седьмой ступени, которая есть блаженство. Эти светочи – зеленые и белые, но они испытывают последовательные изменения: так, они проходят через цвета драгоценных камней, чтобы затем приобрести светлый оттенок, и наконец получают такую окраску, которая не имеет себе подобной, ни на что не похожа, нигде больше не существует, но которая разлита по всей вселенной... Когда достигнешь этого состояния, открываются атрибуты бога... Тогда кажется, что уже не принадлежишь к этому миру. Все земное исчезает для тебя».

Разве это не те же семь небесных замков святой Терезы и семь цветов, соответствующих семи ступеням экстаза? Чтобы достигнуть этого состояния безумия, члены ордена Хелуатия применяют следующий специальный прием:

«Садятся, скрестив ноги, и повторяют в течение некоторого времени: «Нет бога, кроме аллаха», – поворачивая голову так, чтобы рот приходился сперва над правым плечом, а потом перед сердцем под левой грудью. Затем произносят обращение, которое состоит в том, чтобы отчетливо выговаривать имена бога, содержащие идею его величия и могущества, упоминая лишь десять следующих, и в том порядке, в каком они приведены: Он; Праведный; Живой; Непреодолимый; Высший дарователь; Высший покровитель; Тот, кто раскрывает сердца зачерствелых людей для истины; Единый; Вечный; Неизменный».

После каждого обращения адепты должны прочесть некоторые молитвы сто раз подряд или более.

Они садятся в кружок для особых молений. Тот, кто их читает, произнося слово он, высовывает голову на середину круга, склонив ее направо, затем снова откидывает назад, нагибая влево, к наружной стороне круга. Сначала только один произносит слово он, после чего все остальные хором подхватывают это слово, поворачивая головы вправо и влево.

Сравним эти приемы с теми, которые приняты у членов ордена Кадрия: «Усевшись со скрещенными ногами, они дотрагиваются до кончика правой ноги, затем до главной артерии, называемой эль-кияс, которая проходит вокруг внутренностей; кладут на колено раскрытую руку с растопыренными пальцами, поворачивают лицо к правому плечу, произнося ха, затем к левому плечу, произнося ху, затем опускают голову на грудь, произнося хи, и начинают все сначала. Важно и даже необходимо, чтобы тот, кто произносит эти слова, задерживался на первом из них, насколько хватает дыхания; затем, очистившись, он так же растягивает имя бога, пока душа его еще может подлежать осуждению; потом он произносит слово ху, когда она готова к повинению и наконец, когда душа достигает желанной степени совершенства, он может произнести последнее имя – хи».

Эти молитвы, которые должны уничтожить индивидуальность человека, погруженного в сущность бога (то есть привести к состоянию, при котором человек достигает созерцания бога в его атрибутах), называются уэрд-деберед.

Но из всех алжирских религиозных братств более всего, конечно, привлекает любопытство иностранцев братство Айсауа.

Всем известны отвратительные приемы этих истерических жонглеров, которые, придя в состояние исступления, образуют некую магнетическую цепь и, читая свои молитвы, поедают колючие листья кактуса, гвозди, толченое стекло, скорпионов и змей. Нередко эти безумцы пожирают в ужасных конвульсиях живого барана, шерсть, кожу и кровавое мясо, оставляя на земле лишь несколько костей. Они вонзают себе в щеки и живот железные спицы; после смерти, при вскрытии, в стенках их желудков находят самые разнообразные предметы.

И что же, из всех мусульманских братств самые поэтические молитвы и самые поэтические нравоучения встречаются в текстах Айсауа.

Цитирую из книги г-на майора Ринна всего несколько фраз:

«Однажды пророк сказал Абу-Дирр-эль-Р'ифари: «О Абу-Дирр! смех бедных – это молитва; их игры – хвала бону; их сон – милостыня».

Шейх говорит еще:

«Молиться и поститься в пустыне и не иметь сострадания в сердце – это на истинном пути называется лицемерием».

«Любовь – высшая ступень совершенства. Тот, кто не любит, ничего не достиг на пути к совершенству. Существует четыре рода любви: любовь разумная, любовь сердечная, любовь душевная, любовь таинственная...»

Была ли когда-либо определена любовь более полно, более тонко, более прекрасно?

Можно было бы приводить такие цитаты до бесконечности.

Но наряду с мистическими орденами, принадлежащими к великим правоверным исповеданиям ислама, существует отколовшаяся секта ибадитов, или Бени-Мзаб, представляющая крайне любопытные особенности.

Бени-Мзаб населяют к югу от наших алжирских владений, в самой бесплодной части Сахары, небольшую страну Мзаб, которую они путем неимоверных усилий сделали плодородной.

Не без удивления встречаем мы в маленькой республике этих пуритан ислама принципы управления, присущие социалистической общине, и в то же время церковную организацию пресвитериан Шотландии. Мораль их – жестокая, нетерпимая, непреклонная. Они питают отвращение к кровопролитию и допускают его лишь для защиты веры. Большинство обыденных поступков, случайное или произвольное прикосновение к женской руке, к влажному, грязному или запрещенному предмету, считается серьезными проступками, требующими особых длительных омовений.

Безбрачие, ведущее к разврату, гнев, пение, музыка, игра, пляски, все формы роскоши, табак, кофе, выпитое в общественном заведении, составляют грехи, которые в случае упорствования в них влекут за собою страшное отлучение, называемое тебрия.

В противоположность учению большинства мусульманских общин, согласно которому для правоверного, каковы бы ни были его дела, достаточно быть благочестивым, молиться и познать состояние мистической экзальтации, чтобы спасти свою душу, ибадиты признают, что вечное спасение человека возможно лишь путем чистой жизни. Они доводят до крайности соблюдение предписаний корана, считают еретиками дервишей и факиров, не признают, что пророки и святые, память которых они, однако, чтут, способны быть заступниками перед богом, владыкой абсолютно справедливым и непреклонным. Они не верят во вдохновенных и в озаренных людей и не признают даже за имамом права отпускать грехи ближнему, ибо один лишь бог может судить о важности проступка и искренности раскаяния.

Надо сказать, что ибадиты – схизматики, принадлежащие к одной из древнейших схизм ислама; они непосредственно происходят от убийц Али, зятя пророка.

Но ордена, насчитывающие в Тунисе наибольшее число адептов, – это, по-видимому, наряду с Айсауа, братства Тиджания и Кадрия; последнее было основано Абд-эль-Кадер-эль-Джилани, самым святым человеком ислама после Магомета.

Зауи обоих этих марабутов, которые мы посетили после зауи Брадобрея, далеко уступают по изяществу и красоте первым двум памятникам, осмотренным нами сначала.

16 декабря

Впечатление уныния, производимое священным городом, еще усиливается при отъезде из Кайруана в Сус.

После бесконечных кладбищ, широких полей, усеянных камнями, начинаются холмы, состоящие из городских отбросов, которые накапливались целые столетия; потом опять идет болотистая равнина, где то и дело наступаешь на щиты небольших черепашек, а затем снова ланда, где пасутся верблюды. Город с его куполами, мечетями и минаретами возвышается позади нас, как мираж, в этой мрачной пустыне; потом он постепенно удаляется и исчезает.

После нескольких часов пути мы делаем первый привал около куббы, среди оливковой рощи. Мы находимся в Сиди-ль Ханни; мне ни разу еще не приходилось видеть, чтобы солнце создало из белого купола такое чудо, такую изумительную игру красок. Правда ли, что он белый? Да, белый, ослепительно белый! И все же свет так странно преломляется на этом огромном яйце, что тут различаешь волшебное разнообразие таинственных оттенков, скорее, кажется, вызванных чарами, чем естественным явлением; они более иллюзорны, чем реальны, и так тонки и нежны, так утопают в этой снеговой белизне, что их улавливаешь не сразу, а лишь после того, как ослепленный взгляд привыкнет к ним. Но тогда уже не видишь ничего, кроме этих оттенков, таких многочисленных, разнообразных, сочных и все же почти невидимых. Чем больше в них всматриваешься, тем ярче они выступают. Золотистые волны текут по этим контурам и незаметно гаснут в легкой сиреновой дымке, которую пересекают местами голубоватые полосы. Неподвижная тень ветки кажется не то серой, не то зеленой, не то желтой. Под карнизом стена представляется мне фиолетовой; я догадываюсь, что воздух вокруг этого ослепительного купола розовато-сиреневый, а самый купол кажется мне сейчас почти розовым, да, почти розовым, когда слишком долго в него всматриваешься, когда из-за утомления, вызванного его сиянием, сливаются все эти тона, такие мягкие и светлые, что они опьяняют глаз. А тень этой куббы на земле, – какого она цвета? Кто сумеет постичь, показать, изобразить ее красками? Сколько лет еще придется воспринимать нашему взору и мысли эти неуловимые расцветки, столь новые для нас, привыкших видеть европейскую природу, ее эффекты и отражения, прежде чем мы научимся понимать, различать и выражать эти тона, прежде чем мы сумеем передать волнующее впечатление подлинности для тех, кто будет смотреть на полотна, где эти тона закрепит кисть художника?

Теперь мы вступаем в область менее оголенную, где растут оливковые деревья. В Муреддине, около колодца, красавица-девушка обнажает в улыбке зубы, глядя на нас, когда мы проезжаем мимо. Немного дальше мы обгоняем элегантного буржуа из Суса, возвращающегося в город верхом на осле и в сопровождении слуги-негра, который несет его ружье. Вероятно, он только что побывал в своей оливковой роще или на своем винограднике. На окаймленной деревьями дороге он представляет собой прелестную картину. Он молод, одет в зеленую куртку и розовый жилет, наполовину скрытые под шелковым бурнусом, охватывающим его бедра и плечи. Сидя по-дамски на ослике, который бежит рысцою, он барабанит по его боку ногами в безукоризненно белых чулках, а на ступнях его неведомо каким образом держатся лакированные туфли без задников.

Негритенок, одетый во все красное, с ружьем на плече бежит за ослом своего господина с проворством и гибкостью дикаря.

Вот и Сус.

Но я ведь уже видел этот город! Да, да, это лучезарное видение некоего являлось мне в юности, в школе, когда я заучивал крестовые походы по Истории Франции Бюретта. О, да! Он мне так давно знаком! Он полон сарацин, засевших за этими длинными зубчатыми стенами, такими высокими и узкими, с широко расставленными башнями, с круглыми воротами и с людьми в тюрбанах, бродящими у подножия стены. О, эта стена! Конечно, она та самая, что была изображена на книжке с картинками, такая гладкая и чистенькая, словно вырезанная из картона. Как все это красиво, светло, упоительно! Предпринять такое длинное путешествие стоило уже для того, чтобы повидать Сус. Боже! Какая прелесть эта стена, вдоль которой придется следовать до самого моря, – ведь экипажи не могут проехать по узким, причудливо извивающимся улицам этого города былых времен. А стена все тянется и тянется до взморья, всюду одинаково зубчатая, вооруженная квадратными башнями; потом она описывает дугу, идет вдоль берега, снова сворачивает, подымается и продолжает свой путь, сохраняя на всем его протяжении изящный вид сарацинского крепостного вала. Она возобновляется бесконечно, как четки, где каждая бусинка – зубец и каждая десятая бусинка – башня, и замыкает в своем блестящем кольце, точно в венке из белой бумаги, весь город, сжатый в ее объятиях, глинобитные дома которого поднимаются уступами от нижней стены, омываемой морем, к верхней, вырисовывающейся на фоне неба.

Мы обходим город, переплетение изумительных улиц, и, располагая еще часом дневного времени, отправляемся смотреть раскопки, производимые офицерами, в десяти минутах ходьбы от городских ворот, на месте некрополя древнего Хадрумента. Здесь были обнаружены обширные подземелья со следами стенной росписи, заключающие в себе до двадцати гробниц. Этими изысканиями мы обязаны офицерам, которые в этих странах становятся завзятыми археологами и могли бы оказать науке неоценимые услуги, если бы ведомство изящных искусств не тормозило их деятельности всевозможными придирками.

В 1860 году в этом же некрополе обнаружили чрезвычайно любопытную мозаику, на которой был изображен Критский лабиринт с Минотавром в центре, а у выхода – корабль, уносящий Тезея и Ариадну с ее нитью. Бей пожелал перенести это замечательное произведение искусства в свой музей, но при перевозке мозаика была окончательно разрушена. Мне любезно подарили фотографию с наброска, сделанного с нее г-ном Лармандом, чертежником инженерного ведомства. Таких фотографий существует всего четыре, и сняты они совсем недавно. Сомневаюсь, чтобы они были когда-либо воспроизведены.

Мы возвращаемся в Сус на закате, чтобы отправиться на обед к гражданскому контролеру Франции, широко осведомленному человеку, рассказы которого о нравах и обычаях этой страны чрезвычайно интересны:

Из его дома виден весь город, этот водопад квадратных крыш, выбеленных известью, по которым бегают черные коты и где порою встают, как призраки, существа, задрапированные в светлые или яркие ткани. Местами высокая пальма, просунув вершину между домами, простирает зеленый букет своих веток над их ровной белизной.

Позднее, когда взошла луна, все это превратилось в серебряную пену, текущую к морю, в чудесный сон поэта, ставший явью, в невероятное видение фантастического города, от которого к небу поднимается сияние.

Затем мы долго еще бродим по улицам. Нас соблазняет дверь мавританской кофейни. Мы входим. Там полно людей, сидящих на корточках или прямо на земле, или на досках, застланных циновками, вокруг араба-сказочника. Это жирный старик с хитрыми глазами, и говорит он с такой забавной мимикой, что ее одной достаточно, чтобы рассмешить. Он рассказывает шутивную историю про обманщика, выдававшего себя за марабута и разоблаченного имамом. Наивные слушатели в восторге и следят с напряженным вниманием за рассказом, прерываемым лишь взрывами хохота. Потом мы снова начинаем бродить по улицам, не решаясь пойти спать в эту сверкающую волшебную ночь.

Но вот на одной узкой улице я останавливаюсь перед красивым восточным домом, в открытую дверь которого виднеется широкая прямая лестница, вся в фаянсовых изразцах и освещенная сверху донизу невидимым светочем, как бы светоносным пеплом, световой пылью, падающими неизвестно откуда. Под этим невыразимым сиянием каждая эмалированная ступенька так и ждет кого-то, может быть, старого пузатого мусульманина, но мне кажется, что она призывает стопы любовника. Никогда я так ясно не угадывал, не видел, не понимал, не испытывал чувств ожидания, как перед этой открытой дверью и этой пустой лестницей, озаренной невидимым светильником. Снаружи на стене, освещенной луною, – один из тех больших закрытых балконов, которые называют бармаклы. Посередине, за богатым узором железного переплета мушараби, – два темных отверстия. Не там ли поджидает кого-то с трепещущим сердцем, прислушивается и ненавидит нас арабская Джульетта? Да, может быть. Но ее желанья, чисто чувственные, не из тех, которые в наших странах взнеслись бы в такую ночь к самым звездам. В этой стране, теплой, полной неги и такой пленительной, что здесь, на острове Джерба, зародилась легенда о Лото-фагах, воздух упоительнее, солнце горячее, дневной свет ярче, чем где бы то ни было, но сердца не умеют любить. Женщинам, прекрасным и пылким, неведомы наши нежные чувства. Их первобытные души остаются чужды сентиментальным волнениям, и поцелуи, как говорят, не порождают грез.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 5. Эйфелева башня - одна из достопримечательностей Парижа, металлическая башня высотой в 300 метров, построенная в 1889 году французским инженером Гюставом Эйфелем (1832-1923).

Стр. 6. Всемирная выставка – выставка, состоявшаяся в Париже в 1889 году.

Стр. 9. ...гений того, кто единым взлетом своей мысли... - Речь идет о Ньютоне.

Американский изобретатель – Эдисон.

Стр. 14. Природа – это храм, где камни говорят... – Приведенный сонет находится в книге стихотворений Бодлера «Цветы зла».

Стр. 15. Артюре Рембо (1854-1891) – французский поэт, один из основоположников декадентства.

Стр. 17. Жюль де Гонкур (1830-1870) – французский писатель, сотрудничавший со своим братом Эдмоном де Гонкуром (1822-1896).

Стр. 21. Баланчелла – легкое итальянское судно, плавающее в Средиземном море.

Стр. 30. ...я выбрал бы женщину Тициана... – Речь идет об одной из двух «Венер» Тициана, находящихся во Флоренции, в галерее Уффици, по-видимому, о так называемой «Венере с куропаткой».

Стр. 31. Лука делла Роббиа (1400-1482) – итальянский скульптор.

Донателло (1386-1466) – итальянский скульптор.

Стр. 32. Бонанн - итальянский архитектор, скульптор и чеканщик XII века.

Джованни да Болонья (1524-1608) – скульптор, по происхождению фламандец, долго работавший в Италии, почему его имя, Жан де Болонь, итальянизировалось.

Стр. 39. Рожер II – король Обеих Сицилий (старинного объединенного королевства, включавшего в себя Неаполь и Сицилию), правивший с 1098 по 1154 год.

Пюви де Шаванн (1824-1898) – французский художник, мастер фресковой живописи.

Стр. 40. Парсифаль – последняя опера Вагнера, написанная им в 1882 году,

Стр. 47. Теодор де Банвиль (1823-1891) – французский поэт-парнасец, замечательный версификатор. Речь идет о книге Банвиля «Трактат о французской поэзии», изданной в 1872 году.

Стр. 48. Фра Дьяволо – знаменитый предводитель итальянских разбойников, сражавшийся против войск Наполеона I; был взят в плен и повешен в 1806 году.

Стр. 52. Сопровождающий меня друг – Анри Амик.

Стр. 55. Храм Нептуна . – В истории искусства этот памятник более известен под именем храма Посейдона; Посейдон, бог морей в древнегреческой мифологии, назывался у римлян Нептуном.

Стр. 57. Зевксис - древнегреческий живописец V века до н. э., ученик Аполлодора, принадлежавший к так называемой ионической школе.

Акрагас - пуническое название Агригента.

Стр. 58. Полибий (ок. 201 – ок. 120 до н. э.) – древнегреческий историк.

Диодор (ок. 80-29 до н. э.), иначе Диодор Сицилийский, – древнегреческий историк.

Построен в V веке – в V веке до нашей эры.

Стр. 60... За плату в одно су. – Су составляет одну двадцатую франка, то есть около двух копеек по золотому курсу начала XX века.

Стр. 66. Вулкан – в античной мифологии бог огня, кузнечного и слесарного мастерства.

Пиндар (518 или 522 – ок. 442 до н. э.) – древнегреческий поэт.

Сиканы – первобытные обитатели Сицилии.

Стр. 71. Венера Сиракузская . – Статуя этой Венеры была найдена в 1804 году.

Стр. 72. Эмпедокл – древнегреческий философ и врач (ок. 490 – ок. 430 до н. э.), почитавшийся своими современниками за волшебника. По легенде, Эмпедокл бросился в кратер Этны, чтобы его сограждане, не найдя ни тела его, ни одежды, решили, что он вознесся на небо. Но вулкан выбросил при извержении медные котурны Эмпедокла, благодаря чему стали известны обстоятельства его смерти.

Никий (ок. 470-413 до н. э.) – афинский полководец, предпринявший во время Пелопоннесской войны поход против Сиракуз, где он был разбит и погиб в 413 году.

Дионисий (ок. 431-367 до н. э.) – Речь идет о сиракузском тиране Дионисии-Старшем.

Стр. 73. Венера Милосская - знаменитая статуя Венеры, находящаяся в Луврском музее в Париже и найденная на острове Милосе в 1820 году.

Джоконда - картина Леонардо да Винчи, находящаяся в Луврском музее.

Стр. 75. Венера Каллипига - одна из статуй Венеры подчеркнута эротического характера, находящаяся в Неаполе.

Афиней - греческий писатель III века нашей эры.

Лампридий - римский историк IV века нашей эры.

Гелиогабал (204-222) – римский император.

Стр. 81. Этот посредник – марабут. – В записках Тассара (запись от 9 ноября 1887 года) говорится о посещении Мопассаном старинной гробницы некоего знатного араба, сделавшегося марабутом:

«Уже стемнело, когда мы добрались до гробницы марабута, о которой нам говорил проводник Бу-Хиайя; он перечисляет все чудеса, совершенные этим магометанским святым, что мало интересует моего господина. По правде говоря, все эти чудеса почти всегда похожи одно на другое, и после всего, что рассказал наш проводник, самым очевидным из чудес этого знаменитого святого было, конечно, то, что он научился ловко и беззастенчиво выуживать из кармана крестьян-бедняков их скудные сбережения.

Это возмутило моего господина.

– Да, – воскликнул он, – это всегда так, какая бы ни была страна и какая бы ни была религия; куда ни пойдешь, всюду одно и то же: постоянно всем руководит выгода. Эти религии вызывают у вас тошноту, но попробуйте запретить их, и они тотчас же будут заменены другими, а результаты получатся те же самые.

Он прибавил:

– Вы не читали Вольтера, Франсуа?

– Нет, сударь.

– Ну так вот, то, что сказал нам Бу-Хиайя по поводу своего марабута, заставило меня подумать о Вольтере. После того, как он поднял на смех все религии, особенно же католическую, его изгнали из Франции; он обосновался в одной маленькой общине по имени Фернэй, близ швейцарской границы, и, очутившись без всяких ресурсов, сумел благодаря своей ловкости – чисто марабутовской, если хотите, – создать себе ренту из доверчивости бедных крестьян местечка и жил припеваючи. Он провел конец своей жизни самым приятным образом в замке, выстроенном им на те эю, которые приносили ему католики».

Стр. 82. Гиньоль - театр французского Петрушки.

Стр. 86. Блаженный Августин (354-430) – церковный писатель и один из «отцов» католической церкви,

Декурион - начальник десятка в римском войске; в городских общинах – лицо, ответственное за сбор налога.

Траян (53-117) – римский император.

Стр. 88. Суки - мавританские лавочки.

Стр. 92. Юты - евреи.

Стр. 95. Киф . – Так называются искрошенные листья конопли, примешиваемые к табаку для усиления его наркотического действия.

Стр. 100. Дарбука - род бубна.

Стр. 103. Аисса - имя Иисуса Христа у магометан.

Изабелла Католическая (1451-1504) – королева Кастилии; при ней произошло объединение Испании, завершившееся изгнанием мавров из Гренады в 1492 году.

Стр. 109. Караван-сарай – арабский постоялый двор.

Стр. 110. Бордж – крепость, замок.

Стр. 111. Велизарий (ок. 505-565) – византийский полководец. Имеется в виду поход Велизария на государство вандалов в Северной Африке, разгромленное им в 533 году.

Антонин (86-161) – римский император Антоний Пий.

Стр. 112. Плиний . – Имеется в виду один из римских литераторов: естествоиспытатель Плиний-Старший (умер в 79 году нашей эры) или его племянник Плиний-Младший (ок. 62-114).

Птоломей (ум. 168) – греческий астроном, математик и географ.

Стр. 115. Дантовский лес . – Намек на описание «леса самоубийц» в XIII песне «Ада» Данте.

Стр. 125. Мираб – род ниши, устраиваемой в стене мечети; в этой нише помещается имам и, обратившись лицом в сторону Мекки, руководит общему молитвой.

Стр. 128. Майор Ринн – французский офицер, крупный деятель алжирской колониальной администрации 80-х годов, начальник центрального управления по арабским делам и автор ряда книг и брошюр, посвященных географии, истории, экономике, лингвистике и религиозной жизни Алжира. Указываемая Мопассаном монография Ринна была издана в Алжире в 1884 году под заглавием «Marabout et Khouan, etude sur l'Isleme en Algerie»

Стр. 131. Тереза (1515-1582) – испанская монахиня, одна из «святых» католической церкви, прославившаяся своими «видениями».

Стр. 136. Бюретт (1804-1847) – французский историк и педагог, автор многочисленных школьных учебников, из которых особенной

известностью пользовалась его «История Франции».

Стр. 137. Критский лабиринт. – В древнегреческой мифологии говорится о лабиринте, построенном архитектором Дедалом на острове Крит для заключения чудовища Минотавра, получеловека, полубыка, пожиравшего брошенных туда людей. В лабиринт брошен был Тезей, один из мифических героев Греции. Царевна Ариадна, дочь критского царя Миноса, дала Тезею клубок ниток, благодаря которому Тезей мог выбраться из лабиринта, после того как он убил Минотавра.

Стр. 138. Мушараби – решетчатая ширма в окне, сквозь которую можно смотреть, оставаясь невидимым.

Лотофаги – легендарное племя в древней Африке, питавшееся плодами лотосов и получившее поэтому способность забывать о прошлом.